

А.М. Марченко

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)

«Мечтатель сельский, я — в столице»	7
«Время мое пришло»	11
«Посмотрим — кто кого возьмет»	14
«Идет совершенно не тот социализм»	18
«Я искал в этой женщине счастья»	21
«Вернулся я в родимый дом...»	25
«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...»	27
«Честь моя за песню продана...»	31
Попытка прорыва	32
Предназначенное раставанье	35
«И простим, где нас горько обидели...»	42

«Ну, а я крестьянский сын»

Сергей Александрович Есенин родился в 1895 году 3 октября по новому стилю в селе Константинове Рязанской губернии. В поэме «Черный человек» поэт называет свою семью «простой, крестьянской». На самом деле была она далеко не простой, а главное, не совсем уже и крестьянской.

Ни Москва, ни Петербург испокон веку не могли обслужить себя собственными силами, потому и выманивали из близлежащих краев недостаточных крестьян, превращая их, как сказали бы сейчас, в «лимитчиков». Один из героев хроники В. Гиляровского «Москва и москвичи» рассказывал автору:

«Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве — так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи... Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так, Ярославская давала половых, Владимирская плотников, Калужская булочников. Банщиков давали три губернии».

Среди трех *банных* провинций была и Рязанская, и это не единственная ее специализация — у здешних крестьян, не в пример здешним же помещикам и многочисленным монастырям, было слишком мало пахотной земли, и им, чтобы выжить, приходилось осваивать не одну, а несколько нужных городу профессий. Односельчане Есенина, как и его отец, устраивались в основном по торговой части. Но это те, что посмирнее. Рисковые и азартные, к примеру, дед поэта по матери Федор Титов, становились «корабельщиками»: приобретали в собственность баржи — единолично или артелью, на паях, — на них и доставляли в обе столицы *простой продукт* — и лес, и сало, и овес, а главное — сено (по всей пойме Оки — лучшие в Европейской России заливные луга).

Однако даже в этом ряду среди временных москвичей и сезонных петербуржцев семья Есениных выделялась малоземельем, сильно отклоняясь от средней нормы. Уже дед Сергея Александровича по отцу Никита Осипович на том клочке земли, какой приобрел

после женитьбы, ничего, кроме вынужденно «двухэтажной» избы (внизу — помещение для скотины и что-то вроде амбара), уместить не смог. В еще более стесненном положении оказался его сын Александр. С двенадцати лет, после смерти отца, он и жил, и работал в Москве сначала мальчиком, а потом старшим приказчиком в мясной лавке купца Крылова; на эти-то крыловские, *торговые*, деньги и кормилась семья. Корова и огород (лошади не было) служили лишь подспорьем. Не было у Есениных и собственного сада, хотя у соседей, что справа, что слева, сады имелись. Да что сад — огород и тот на выселках, вдалеке от подворья. И вот что еще важно. Прижимистые и хозяйственные константиновцы («владельцы землей и скотом») смотрели на городские заработки и многомесячные отлучки из деревни как на отхожий промысел, помогающий расширить земельный надел, тогда как Александр Никитич, удивляя и смешивая односельчан, вкладывал все, что удавалось скопить, не в землю, а в дом.

То часы городские привезет, то красивую лампу, то венские стулья... Первой же его заботой, а, следовательно, и основным расходом было образование детей, благо все трое, и Сергей, и Екатерина, и Александра, подрастали на редкость способными — «жадными на ученье». Это по настоянию отца, а не матери и ее властной и авторитетной в деревне родни старшего, Сергея, по окончании Константиновской четырехлетки определили в Спас-Клепиковскую учительскую школу. К тому же Александра Никитича, сызмала оторванного от земли и не отличавшегося крепким здоровьем, крестьянская работа утомляла. Младшая из его дочерей вспоминает:

«Приезжая домой только в отпуск, он не умел ни косить, ни пахать, ни молотить. Даже лошадь запрячь не умел. Да и сил у него не было... Сознавая свою непригодность и слабосилие, отец чувствовал себя не на своем месте и ходил всегда грустный. Целыми часами сидел он у окна, опершись на руку, и смотрел вдаль».

Мать поэта Татьяну Федоровну (в девичестве Титову) неприкаянность и слабосилие мужа сильно раздражали, тем сильнее раздражали, что выросла она в семье с иным укладом: братья — хватистые, умелые мужики, а отец — мало что корабельщик, еще и знатный лошадиник, у которого и лучшие в селе лошади, и отменная упряжь. Будь с ее стороны любовь-страсть, может, и обошлось бы, но выдали шестнадцатилетнюю Татьяну за восемнадцатилетнего Александра не то чтобы насильно, а по сговору да расчету: к той поре, как дочь заневестилась, Федор Титов разорился и дать за своей любимицей, певуньей-плясуньей достаточное приданое уже не мог, а Сашка Есенин по прозвищу Монах брал девку замуж за красоту, по любви.

Чувствуя, что невестка равнодушна к ее сыну, свекровь изводила молодую попреками, а муж по тихости и мягкости не перечил матери, не защищал жену. Кончилось тем, что Татьяна, отдав малолетнего сына в отцов дом, уехала в Рязань.

Разлад между родителями не мог не сказаться на характере брошенного ребенка, на всю жизнь запомнившего детские обиды, выпавшие на «сиротскую» (при живых отце-матери) долю. Особенно часто ссорился Сергей с папашей в ранней юности. Внешне, физически, он походил на отца, пошел, как говорится, *мастью в Есениных*, а не Титовых, и это фамильное сходство при разнице интересов и жизненных установок хорошо «унавоживало» почву для постоянных распрей. С матерью ему было проще, потому что Татьяна Федоровна, чувствуя себя навсегда виноватой перед сыном, в открытую ничего от него и не требовала, ну разве что поворчит, видя, что тот, зачитавшись, отлынивает от мужицкой работы. Однако и тут, в отношениях с матерью, имелась тайная причина для дискомфорта. Дело в том, что, уйдя из деревни и устроившись на работу в Рязани, Татьяна Федоровна, «нагуляв», как судачили в Константинове, внебрачного ребенка, попросила у мужа официальный развод. Развода Александр Никитич неверной, но любимой жене не дал, в результате незаконнорожденного мальчика, названного почему-то Сашей (одним именем с постылым супругом!), пришлось устроить в «хорошие

руки», а Татьяна Федоровна вернулась в деревню — не столько к мужу, сколько к домашнему очагу и к законному сыну.

Судя по до сих пор не опубликованным воспоминаниям Александра Ивановича Разгуляева (и отчество, и фамилию единоутробному брату Есенина дала его «воспитательница» Екатерина Разгуляева), Сергей относился к нему хорошо и жалел мать, вынужденную жить в вечном разлучении с «несчастливым дитем». На самом деле все было куда сложнее. Узнав, например, что Татьяна Федоровна тайком видится с Сашей и потихоньку отдает ему деньги, которые поэт посылал в Константиново на строительство новой взамен сгоревшей избы, Сергей написал отцу такое письмо:

«Дорогой отец! Пишу тебе очень жгуче... Мать ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну. Теперь я понял, куда шли эти злосчастные 3000 руб. Я все узнал от прислуги. Когда мать приезжала, он приходил ко мне на квартиру, и они уходили с ним чай пить. Передай ей, чтоб больше ее нога в Москве не была».

Есенину почти тридцать, а реагирует он на «измену» матери, на то, что та приезжала в Москву повидаться *со своим сыном, а не с ним* — так, как могут обижаться в первой юности подростки с особо ранимой душой; это-то, кстати, и наводит на мысль, что Есенин куда болезненнее переживал семейные неурядицы, чем казалось его сестрам.

Очень тяжело, как опасную болезнь, перенес он и первую разлуку с родимым домом, настолько тяжело, что сбежал из Спас-Клепиков; еле-еле уговорили беглеца вернуться, и если б в тот же год он не сдружился с одноклассником, серьезным и добрым Гришей Панфиловым, у которого в Спас-Клепиках был родительский дом, где Сергея искренне полюбили, вряд ли бы дотерпел *«казенный кошт»* до учительского диплома.

Диплом сельского наставника Есенин (весной 1912) все-таки получил, но от распределения в деревенскую школу при самом искреннем сочувствии к «забитому» и «от света гонимому народу» наотрез отказался, несмотря на слезы матери и гнев отца, которым очень-очень хотелось, чтобы их сын, такой пригожий да умный, всему селу на зависть, стал учителем. И не потому, что боялся «пропасть в глуши», а потому, что уже понял, что он — поэт.

Думать и говорить стихами первенец Татьяны и Александра Есениных начал лет с девяти, а «пробуждение творческих дум» почувствовал еще раньше. Детские стихи Есенина не сохранились, поскольку никто из взрослых их не записывал, можно, однако, предположить, что две изумительные миниатюры, которые Сергей Александрович неожиданно вспомнил в 1925 году, когда готовился его госиздатовский трехтомник, — «Там, где капустные грядки...» и «Вот уж вечер...», — сложены, во всяком случае вчерне, еще в детстве, до того, как мальчик научился бегло читать и писать. А вот потом с ним случилось то, что нередко случается с талантливыми подростками на перепутье между отрочеством и первой юностью: он стал слишком уж прилежно копировать поэтов, которыми восхищались взрослые и образованные люди его непосредственного окружения.

Переехав в 1912 году на жительство в Москву, Сергей хотел скорее начать зарабатывать деньги, чтобы не сидеть на родительских харчах. Сменив несколько явно не подходящих ему «рабочих мест» (конторщик в той же мясной лавке, где служил Александр Никитич, экспедитор в книгоиздательстве «Культура»), нашел-таки приличную работу (устроился помощником корректора при типографии знаменитого на всю Россию издателя массовой литературы Сытина), а кроме того, установил связи с Суриковским музыкально-литературным кружком, деятельно и умело опекавшим талантливых выходцев из народа.

Легко приспособившись к общему в этом полусамодельном литобъединении стилю, Есенин уже через несколько месяцев чувствовал себя здесь настолько своим, что принял участие в составлении и обсуждении программы собственного журнала суриковцев «Друг народа», там же напечатал стихотворение «Узоры». Годом ранее его начал полегоньку публиковать и еще один тонкий журналчик для детей — «Мирок».

Что до серьезных толстых ежемесячников, то они глухо молчали, хотя Сергей Александрович регулярно отправлял по разным редакциям подборки своих новых произведений. Словом, усилия явно не соответствовали результату: Москва, приютив честолюбивого провинциала, не спешила признать в нем оригинальный талант и упорно не выделяла среди начинающих «самоучек». Конечно, Есенин слишком верил в себя, в славную «будущность» («что я буду богат и известен и что буду я всеми любим»), чтобы несолоно хлебавши вернуться в свои «рязани». Но временами становилось невмочь — теснота, бедность... И в деревне перебивались с хлеба на квас, но там пусть и небогатый, все же свой дом, а здесь? Сырой угол! Однажды, поддавшись тоске, он даже хлебнул укусной эссенции, к счастью, испугался и тут же стал пить молоко.

Из тяжелого душевного кризиса юношу вывело знакомство с милой и доброй Анной Изрядновой. Опытный корректор, Анна-помогала Сергею овладеть азами новой для него профессии, она же уговорила записаться вольнослушателем в народный университет им. А.Л. Шанявского (осень 1913). Она и не заметила, как влюбилась. В церкви молодые люди не венчались: собрав пожитки, Сергей просто переехал в снятую Анной квартирку, маленькую, но светлую и опрятную. В декабре 1914 года Анна родила от Есенина мальчика, названного по инициативе девятнадцатилетнего отца Юрием. Если верить Александру Разгуляеву, Татьяна Федоровна, узнав, что подруга старшего сына беременна, пыталась усюветить Сергея: дескать, ежели обрюхатил девку, женись. И ее подначивала: требуй. Но Анне такое и в голову не приходило: какой из Сергея муж? А ребенка сама поднимет, не безрукая и голова — на плечах...

Никакого следа в жизни Есенина мать его первого ребенка, по видимости, не оставила. Да и вообще женщины в драме его судьбы никогда не играли главных ролей, как это было у Блока или Тютчева. У него и стихов, описывающих конкретную любовную ситуацию, практически нет. За исключением разве что цикла «Любовь хулигана», посвященного актрисе Августе Миклашевской, но именно с этой женщиной настоящего житейского романа у Сергея Александровича как раз и не было. Но все они — «кого любил и бросил», хотя бы тенью промелькнули в его лирике, так что не исключено, что концовка знаменитого стихотворения 1916 года «Гаснут красные крылья заката...», пусть и «легкокасательно», но связана с образом его первой гражданской жены — спокойной, ласковой, кроткой, ответившей на мимолетную привязанность будущего поэта, верной и нетребовательной:

Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня...
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

Но пока, до марта 1915 года, в тихой комнатке за Серпуховской заставой молодые люди живут вместе, соблюдая видимость семейственности: Анна растит себе сына, а Сергей — *растит себя поэтом*.

Сделав несколько неудачных попыток преобразить в стихи жизненный материал, какой преподносила новоиспеченным горожанам бурно европеизировавшаяся Москва, Есенин, в отличие от почти ровесников по поэтическому поколению, Владимира Маяковского и Игоря Северянина, тоже, кстати, провинциалов, выросших в негородской глуши, — уже к концу 1913 года твердо решил: он будет писать только *о деревенской Руси*, а чтобы не затеряться в не слишком могучей кучке деревенщиков-самоучек, кроме направления творческого пути, срочно выработает еще и *философический план* построения поэтического мира. Именно мира, на меньшее, даже в долгих спорах с самим собой, Есенин не соглашается и термин *построение* употребляет не всуе, ибо убежден:

поэтическое произведение и растет, будто дерево или злак, свободно и раскидисто, и в то же время строится, как «изба нашего мышления», по строго рассчитанному чертежу.

Однако, оглядевшись, сообразил: в Москве, бездушном, буржуазном городе, «где люди большей частью волки из корысти» (из письма к Грише Панфилову), ему не найти ни истинных ценителей деревенских, резедой и мятой вскормленных стихов, ни просвещенных меценатов-издателей. В том же письме поэт признается товарищу ранних лет: «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер». Надо отдать должное есенинской интуиции: тогдашняя Москва, только что усадившая на поэтический трон Игоря Северянина — короля на новых русских ориентированной поэзии, Москва, со сладким ужасом глазевшая на желтую кофту Маяковского, и в самом деле ничуть не нуждалась в открывателях Голубой Руси.

Пока Гриша Панфилов был жив (он умер от туберкулеза в феврале 1914), план побега из бездушной Москвы в северную столицу был тайной двоих, но уже летом 1914 года Есенин стал говорить об этом открыто — имею, мол, намерение переехать в Питер насовсем. И добавлял: «Пойду к Блоку. Он меня поймет». На первый взгляд уверенность никому не известного «самоучки», что знаменитый автор «Стихов о Прекрасной Даме» примет участие в его литературной и человеческой судьбе, представляется, мягко говоря, опрометчивой. Блок той поры (1913–1915) — это «Ямбы», «Кармен», это такие *угрюмые* стихи, как «Перед судом», «Грешить бесстыдно, беспробудно...», то есть сугубо городской, сосредоточенно петербургский поэт.

Но дело-то в том, что Есенин по наивности совсем не этого, взрослого и усталого «угрюмца» собирался разыскивать в Петрограде. Ему нужен был другой Блок — двадцатипятилетний! Тот, кто чуть ли не десять лет назад в маленьких эссе «Краски и слова» (1905) и «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906) предсказал неизбежность появления нового поэта. Только новый, с поля пришедший художник найдет свежие *краски и слова* для выражения смертной любви россиянина к бедной своей родине и неведомо каким — чудесным, колдовским — способом добудет затонувшее в недрах ее болот и суглинков «поющее золото». Больше того: не кто иной, как Блок, предсказав неизбежность вспышки на русском литературном небе ослепительно-яркой звезды, *назвал по имени* темы, сюжеты, ключевые образы первой есенинской книги. Провидчески, наперед, в блистательной прозе 1906 года — «Безвременье»:

«Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности... Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и еще дальше, как рукавом, машут рябины, все обсыпанные красными ягодами. Нет ни времени, ни пространств на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом... Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься, — даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, — даль станет еще прекраснее и еще недостижимее».

И предположить невозможно, что знаменитое это эссе, так же, как написанное в том же эстетическом и эмоциональном регистре стихотворение «Осенняя воля» (1905), прошли мимо Есенина. Чересчур пристально и ревниво следил он за творчеством Блока, слишком прилежно учился у него «лиричности». «Блок и Клюев научили меня лиричности», — скажет он в 1925 году. К тому же студенты народного университета им. А.Л. Шанявского старались быть в курсе новых веяний, да и напечатано было «Безвременье» в журнале «Золотое руно» — дорогим, престижным и потому особо бережно и долго хранимом (библиотека в народном университете стараниями его учредителей была отменной).

Во всяком случае, готовясь удрать в Питер, Есенин явно «ломает» свою прежнюю, ориентированную на вкусы суриковцев и Е. Хитрова, поэтику. Московский знакомый Есенина, литератор Д. Семеновский, вспоминает, что ранним летом 1914 года Сергей

говорил ему: «Напишу книжку стихов под названием “Гармоника”. В ней будут отделы: “Тальянка”, “Ливенка”, “Черепашка”, “Венка”». Замысел не лишен оригинальности: только художник с абсолютным поэтическим слухом мог сделать столь тонкое *«распределение»*, ибо на слух более грубый и примитивный, между, скажем, «Тальянкой» или «Ливенкой», или «Венкой» (разновидности гармоника) разницы принципиальной нет, тем более, что речь идет не о песнях в буквальном смысле, а о произведениях вербальных, пусть и с сильно выраженным напевным, мелодическим началом. План этот не был осуществлен. Вместо «Гармоники» Есенин написал «Радуницу», книгу, созданную под могучим внушением и очарованием молодого Блока.

В «Радунице» Есенин словно бы воспользовался той картиной провинциальной Руси, которую Блок создал в «Безвременье», — и как философическим планом, и как замечательно точно найденной *расстановкой* (любимое есенинское слово) *«предметов земных вещей»*, пустот и плотностей, композиционных равновесий и неравновесий, соблазнов плоти и устремлений духа, вплоть до сочетания цветowych пятен. Как строили древнерусские зодчие? Чертили на земле или на бересте план — назывался он «вавилон» и, сообразуясь с «вавилонном», при помощи парных, связанных гармоническими отношениями сажень (сажень с четью) возводили храм. Подобный *вавилон* Есенин, видимо, и выглядел-высмотрел в «Безвременье», и сразу же заработал на полную мощность самый ухватистый из его подмастерьев — *строитель-звук*, в повадке которого смутно брезжит облик именно древнерусского зодчего, а не современного деревенского плотника:

На крепких сгибах вздетых рук
Возводит церкви строитель-звук.

Словом, начиная с осени 1914 году Есенин работает, постоянно оглядываясь на Блока. Например, сознательно добивается ощущения сини, простора и дали, синевы особенно — заливая голубизной-голубенью ситцевые свои ландшафты, чтобы уже по этой, то светящейся, нежно-перламутровой, то глубокой до черноты сини узнавали его, Есенина, поэтическую страну: «голубизна незримой кущи», «в прозрачном холоде заголубели дали», «летний вечер голубой», «синий вечер», «синий плат небес» и т. д. С не меньшей изобретательностью, словно прислушиваясь к советам Учителя, сочиняет он и «фигуральности», чтобы *«отелить»*, то есть одеть в плоть образа столь пронзительную у Блока «щемящую тоску неисполнимых желаний»: тогда у Есенина и солончаковая, и журавлиная, и озерная, и вечерняя...

А как ухватисто и умело использует он уже в «Радунице», а потом и в «Голубени» открытый автором «Безвременья» эффект взгляда на среднерусский ландшафт сквозь украшающий и поэтизирующий его туман («Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, — даль станет еще прекраснее...»)! Типичный есенинский пейзаж обязательно с туманом (*«даль подернута туманом»*), его и представить-то трудно без «охлопьев синих рос», потому и краски, несмотря на изначально простую и даже грубую яркость палитры — красный, синий, зеленый да желто-золотой, — сияют и светятся, будто одетые перламутром. Запомнит Есенин, а когда представится случай, использует, и счастливо найденное Блоком сравнение дерева с деревенской девушкой, взмахивающей веткой, как рукавом. Блок: «Как рукавом, машут рябины»; Есенин: «Черемуха машет рукавом».

Но, может быть, главный аргумент в пользу предположения — что Есенин, определив себя в подмастерья к мастеру Блоку, учился у него не только лиричности, но и многим другим тайнам поэтического искусства, — тематическая переключка или, как выражался сам Есенин, *перезвон* его дореволюционной лирики с выше названными вещами молодого Блока. Какова главная тема «Безвременья» и «Осенней воли»? Конечно же, тема дороги — убегающей, бесконечной, струящейся по равнинам. Города и те сдвинуты с постоянного места дорогами. Даже в пустынях полей — пунктиры пути. Дороги проложены недавно, обочины завалены горами щебня и вывороченной «киркой»

мертвой желтой глины. Ни романтических троек, ни песенных ямщиков (голос и колокольчик — где-то там, вдали). Лишь изредка вываливается из придорожного кабака на дорогу пьяный хохот. И снова дорога, дорога, дорога и фигура одинокого путника: «Привычный, далеко убегающий, *струящийся по равнинам* каменный путь и, словно приросшее к нему, без него невысказанное, согнутое вперед очертание человека с палкой и узелком».

Точно такую же *расстановку* видим и в большинстве стихотворений «Радуницы» и «Голубени» (и далее уже почти везде). И избы, и сама деревня сдвинуты в сторону придорожья, а на первом плане: дорога и человек дороги — бродяга, странник, богомолец, вор, кандалник, прохожий, гуляка праздный, уличный повеса:

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком —
Туда, где *льется по равнинам*
Березовое молоко.

Или такие примеры.

Блок: «Но они (странники) блаженные существа. Добровольно сиротея и обрекая себя на вечный путь, они идут куда глядят глаза».

Есенин: «Счастлив, кто жизнь свою украсил Бродяжьей палкой и сумой».

Блок: «Они как бы состоят из одного зрения, точно шелестят по российским дорогам одни глаза...»

Есенин: «Только синь сосет глаза...»

Перечитайте с этой точки зрения лирику Есенина и не без удивления обнаружите, что это еще и род поэтической энциклопедии русских дорог и целая галерея портретных набросков людей дороги!

«Мечтатель сельский, я — в столице»

Словом, у Есенина были серьезные основания прийти к Александру Блоку без приглашения. Согласно легенде, он так и сделал: заявившись в дом поэта в маскарадном тулупчике прямо с вокзала, вручил хозяину стихи, написанные на отдельных листочках и упакованные чуть ли не в деревенский платок — узелком. В действительности по дороге с вокзала (9 марта 1915) Есенин оставил Блоку записку: приду-де в четыре часа и по важному делу, а одет был обыкновенно — в городской костюм, купленный в магазине готового платья (так одевались в ту пору хорошо зарабатывающие молодые рабочие).

Блок встретил московского гостя вежливо, но сухо-официально, выслушал, впрочем, внимательно, визит отметил для памяти в дневнике: «Днем у меня рязанский парень со стихами... Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные...» А вот предсказанного им же самим нового поэта с «новой свежестью зренья» в талантливом самородке, увы, не узнал. Да он бы и себя не узнал — прежнего, молодого и дерзкого, ежели б «встретил на глади зеркальной». Того, о котором Анна Андреевна Ахматова почти через сорок лет скажет: «И помнит Рогачевское шоссе *разбойный посвист* молодого Блока» (*Рогачевское шоссе* — авторская помета к стихотворению «Осенняя воля»). За десять почти лет и он переменялся, и Россия стала другой: роковой 1914-й стер с лица земли блоковскую, *необычайную Русь*. Под тяжелым военным небом обезголосело в недрах народной души певчее золото, а в даях неоглядных выцвела русская синь...

Однако ж и оставлять на улице подающих надежды молодых людей не в правилах Александра Александровича, и он переправил с соответствующей рекомендацией автора *голосистых стихов* к Сергею Городецкому, тоже поэту и художнику-любителю, а через месяц на просьбу «*рязанского парня*» о новой встрече ответил отказом: дескать, видеться нам не стоит, мне, мол, «*даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные*». Холодную отчужденность Блока и самый воздух замкнутого его дома Есенин истолковал как «*снисходительность дворянства*», и был не так уж сильно несправедлив: в про-

цитированную выше дневниковую запись от 9 марта 1915 года Александр Александрович внес еще и реплику своей жены Любови Дмитриевны, дочери Менделеева: «*Народ талантливый, но жулик*».

Отношение Блока ранило Есенина столь глубоко, что рана эта не стала *былой* и не *улеглась* до самого смертного часа. Тем сильнее ранило, что *снисходительности* он наглотался за годы «царщины» вдосталь. Да, его баловали, ему льстили, им любовались, но не как равным, а как чем-то экзотическим, чем-то вроде расписной дымковской игрушки...

Поэт Георгий Иванов, когда до эмигрантского Парижа дошла весть, что Сергей Есенин покончил с собой в ленинградской гостинице «Англетер», вспоминая начало его городской и горькой славы, писал:

«Из окон этой гостиницы виден, направо за Исаакием, дворец из черного мрамора — дом Зубовых. Налево, по другую сторону Мойки, высится здание Государственного контроля... В обоих этих домах в предреволюционные годы бился пульс литературно-художественной жизни и в обоих частым гостем бывал Есенин. Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова он смотрел на уютившийся на другой стороне площади двухэтажный «Англетер». Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито мужицкой грубостью непонятных слов:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз...

Прелестно... Прелестно... Аплодисменты, любезные улыбки — Сергей Александрович, Сережа... Прочтите еще или, еще лучше, спойте. Вы так грациозно поете эти... как их? Частушки.

...Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня... Рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай, шерри-бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина, как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок в душистой апельсиновой...»

По всей вероятности, с теми же или подобными воспоминаниями связана и поэтическая автобиография Есенина — стихотворение «Мой путь», которое он написал в 1925-м, в год своего юбилея (10 лет литературной деятельности):

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
.....
И вот в стихах моих
Забил
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Разумеется, слова *салонный вылощенный сброд* по отношению к завсегдашним литературно-художественным собраниям «в пышном доме графа Зубова» чересчур субъективны. В дореволюционные времена Есенин таких грубых выражений не употреблял, хотя *своим* на столичном Парнасе себя, конечно, не чувствовал. Вот что писал он крестьянскому поэту Александру Ширяевцу в июне 1917 года:

«Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя, а потому так и развинченны. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы».

Есенин, как видим, почти точно цитирует фразу из обидного письма к нему Блока («...такие мы с Вами разные...»), но в целом даже в 1917 году отношение к столичной элите у него отнюдь не негативное — «люди и очень недурные внутри себя», и это понятно, ведь несмотря на разность, эти чужаки («романцы» и «западники») не только приветили, но и, выражаясь нынешним языком, *раскрутили* его. Больше того, именно петербургские эстеты, а раньше всех Сергей Городецкий, увлекавшийся идеей культур-

ного панславизма и русским деревенским наивным искусством, приняли рязанского гостя восторженно и всерьез, хотя и под несколько специфическим углом зрения: как долгожданное *чудо*, как *явление* отрока Пантелеймона — стык панславистских мечтаний с голосами, рожденными русской деревней, представлялся им, держателям культурного вкуса, «праздником какого-то нового народничества».

На *новое народничество* в Петрограде был спрос. Промышленный бум конца XIX — начала XX века выдвигал Россию в мировые державы и, возбуждая национальное самосознание, обострял до накала «*новой вражды*» старую «*распрю*» западников и славянофилов. Причем по новой раскладке ролей и интересов и наперекор традиции славянофильским центром становится Петербург, тогда как Москва решительно разворачивается фасадом к Европе. И чем успешнее богатеет ее буржуазия, вчерашнее лапотное и бородастое купечество, тем чаще и пристальнее взглядывает она на Запад. Петербург вводит в моду стиль «ля рюс» — московский купец Щукин покупает картины Матисса и Пикассо. Николай II коллекционирует старинные кокошники и, подавая пример подданным, аплодирует исполнительнице народных песен Надежде Плевицкой; Московский Художественный театр, возглавляемый потомственным купцом К.С. Алексеевым, он же Константин Станиславский, ставит «Синюю птицу» Метерлинка.

В столь экзальтированной обстановке Есенин, разглядевший в торговом, «разбитом отхожим промыслом», обыкновенном рязанском селе идеальный прообраз России — Голубую Русь, был обречен на успех, как и несколькими годами ранее Николай Клюев, рачительный охранитель заповедных сокровищ северной старины. Весной 1915 года олонецкого песнопевца в столице не было; по совету Городецкого, заранее предвкушавшего эффект, который произведет дуэт столь сильных природных голосов, Сергей Александрович отправил в Вытегру письмецо. Клюев откликнулся, и с осени «народный златоуст» (Клюев) и «народный златоцвет» (Есенин) на всех неонароднических вечерах и посиделках выступают неразлучной парой. В странных их отношениях было много тяжелого — ревности, взаимных болей и обид, тайного соперничества. По всей вероятности, именно Клюев, опасаясь, как бы столичные душеловы не отняли у него «Сереженьку», не сманили на свою «голубятню» «белого голубя», исподволь, но властно и твердо подогревал в нем неприязнь к литературному «дворянству». Вот что писал этот «хитрый умник» Есенину в августе 1915 года, еще до личного знакомства:

«...Мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем... Особенно я боюсь за тебя... Твоими рыхлыми драченами объелись все поэты, но ведь должно тебе быть понятно, что это после ананасов в шампанском... Быть в траве зеленым, а на камне серым — вот наша с тобой программа, — чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, тогда как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в какой-нибудь «Бродячей собаке»... Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами, — вещественными доказательствами того барско-интел-лигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что Салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: “Да, хорошо быть крестьянином”. Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе все, что мы с тобой должны возненавидеть и чем обижаться кровно? Видите ли — не важен дух твой, бессмертное в тебе. А интересно лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, заговорил членораздельно».

Уже по этому тексту понятно, что Есенину, — с его внешне податливым, мягким, а внутренне крайне независимым характером, — было совсем не легко выносить властный деспотизм «старшего брата». И тем не менее даже тогда, когда их творческие пути круто разошлись, благодарность осталась; при всей своей житейской безалаберности Сергей Александрович принадлежал к той редкой породе людей, кто не забывает ни одной оказанной когда-то помощи. Регулярно, даже из-за границы, посылал он Клюеву продуктовые посылки, официально именовал учителем, в одном чине с Блоком («Блок

и Клюев научили меня лиричности»), в письмах был неизменно почтителен и сдержан, но знакомым жаловался: «Ей-богу, пырну ножом Клюева».

Клюев не давался, ускользал, обманывал, сбивал с толку. Клюева Есенин не понимал: то гневался на «смирненного Миколая»: дескать, «ладожский дьячок» оболгал русского мужика, приписав не свойственный крестьянину «шовинизм», то завидовал: «олонецкий знахарь» хорошо знает деревню. А вот самое начало их пожизненной дружбы-вражды и запомнилось, и вспоминалось почти идиллическим:

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Не без помощи Клюева (у *нежного апостола* — надежные связи в придворных кругах) Есенину удалось избежать отправки в действующую армию: сначала он получил отсрочку от призыва, а затем, весной 1916 года, влиятельные покровители «смирненного Миколая» пристроили «вербного отрока» санитаром в Царскосельский лазарет, который патронировала императрица.

Зимой 1915 Клюев по настойчивой просьбе своего «Сереженьки» познакомил его с Ахматовой. На прощание Анна Андреевна подарила застенчивому гостю оттиск из журнала «Аполлон» с поэмой «У самого моря», а Клюев рассказал по дороге, что у жены Гумилева роман с живущим за морем, в Англии, офицером Борисом Васильевичем Анрепом; роман односторонний, Анреп ее не любит; вот почему хозяйка так грустна и так похожа на монашенку, хотя ее «Четки» и гремят по всей России.

Неожиданно для себя визитеры застали дома и Гумилева: Николай Степанович после ранения, встреченный литературным Петроградом как герой, находился в законном отпуске. Награжденный Святым Георгием за храбрость и уже в офицерском звании, войну он начинал солдатом и на фронт, хотя был освобожден «по зрению», ушел добровольно. Есенин же, напоминая, будет зачислен санитаром в Царскосельский госпиталь лишь в апреле следующего года. В глазах крайне патриотично настроенной Ахматовой (как раз в эти месяцы она даже с давним своим поклонником Георгием Чулковым всерьез рассорилась из-за его «пацифизма») *отлынивание от войны* деревенского здорового парня не украшало. Естественно, вслух сие сказано не было, но подразумевалось. К тому же, прочтя дарственные надписи (Гумилев презентовал гостям свой сборник «Чужое небо»), Есенин раздосадовался: супруги, не сговариваясь, написали одну и ту же дежурную фразу: «Память встречи». Это ли не доказательство снисходительно-небрежного, сверху—вниз отношения?

Из воспоминаний современников известно, что Есенин, много ожидавший от знакомства со знаменитой женщиной-поэтом, вернулся из Царского Села крайне разочарованным и при этом никак не мог внятно объяснить причину своего настроения. Считается, что дело было в том, что именитые царскоселы отнеслись к прочитанным Есениным стихам без особого энтузиазма. Но на какой особый энтузиазм со стороны первой лирической пары тогдашнего Петрограда мог рассчитывать в декабре 1915 года начинающий стихопевец, напечатанный в столичной периодике всего несколько голосистых стихотворений? Особенно от Анны Андреевны после триумфального успеха ее «Четок»?

Кроме того, Есенин приходил к Ахматовой в гости не один, с Клюевым, а Клюев к концу 1915 года повсеместно и повсесердно утвердился в ранге лидера *крестьянской купницы*; естественно, что к нему в первую очередь и было обращено внимание хозяев. Знаменитая певица, исполнительница народных песен Надежда Васильевна Плевицкая вспоминает:

«...Клюев бывал у меня. Он нуждался и жил вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда говорил с большой нежностью, называя его “златокудрым юношей”. Талант Есенина он почитал высоко. Однажды он привел ко мне «златокудрого». Оба поэта были в поддевках. Есенин обличьем был настоящий

деревенский щеголь, и в его стихах, которые он читал, чувствовалось подражание Клюеву. Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал подтрунивать над Клюевым. Тот ежился и втягивал голову в плечи, опускал глаза и разглядывал пальцы, на которых вместо ногтей были поперечные, синеватые полосы.

— Ах, Сереженька, еретик, — говорил он тончайшим голосом».

Но Надежда Васильевна своя, деревенская, при ней можно и осмелеть, тогда как мадам Гумилева — барыня, а значит, чужая и в ее присутствии надобно следовать совету старшего брата: *быть в траве зеленым, а на камне серым*.

<...>

...Хорошо помнили талантливые «выходцы из народа», откуда они *вышли*, и остро болел в среде художественной интеллигенции вопрос о социальном происхождении, даже слава остроу не снимала, ничто, кроме экономического, то есть материально осязаемого реванша не могло эту болевую точку, этот анкетный пункт притушить и утишить. Не отсюда ли «скарденность» Шаляпина, жадное коллекционерство Горького, лакированные башмаки и английские костюмы Есенина?

<...>

«Время мое приспело»

Но мы забежали вперед, ведь на дворе еще только 1916 год, самое его начало, Есенин живет, считая дни: не сегодня-завтра должна выйти из типографии «Радуница», а влиятельный столичный журнал «Северные записки» вот-вот опубликует его сцены из деревенской жизни — повесть «Яр».

«Радуница» была практически готова уже к маю 1915 года, но все попытки ее издать кончались ничем. Все вроде бы обещали, старались, хлопотали, а потом конфузливо разводили руками, дескать, ни бумаги, ни денег: война, разруха. Наконец, и опять-таки с помощью Клюева, отыскался издатель-меценат — богатый купец — старообрядец Аверьянов, и 1 февраля 1916 года долгожданная «Радуница» увидела-таки свет. Тираж (3 000 экземпляров, по тем временам огромный) расходился плохо, меценат-благотетель хмурился, но практическая сторона ничуть не беспокоила счастливого автора. Книга — бессрочный пропуск на поэтический Олимп — была у него в руках, и он бросился одаривать радостью — «Радуницей» всех, кого уважал за талант: Горького, Алексея Толстого, Леонида Андреева...

Между тем положение на русско-германском фронте становилось все тревожнее, лазаретную команду расформировали, Есенина приказом от 23 февраля 1917 года направили в Могилев, в действующий пехотный полк, через четыре дня произошла Февральская революция, в середине марта Сергей Александрович вернулся в Петроград, получил направление в Школу прапорщиков, но по назначению не явился. Герой «Анны Снегиной», во многом alter ego автора, объясняет этот поступок фактически, может быть, и не точно, но по существу достаточно достоверно:

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над странюю калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы»...
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

Конечно же, рядовой Есенин был далеко не первым дезертиром. Но недюжинную отвагу *явил*. Правда, в иных сражениях, в сражениях за поэтическое первенство, развернувшихся на столичном литфронте в связи с новой, постреволюционной расстановкой политических и разных прочих сил. Несмотря на ироническое отношение к главе Временного правительства (калиф на час) и солдатское — рядового сермяжной рати — презрение к окружающим Керенского «прохвостам и дармоедам», Февральскую революцию поэт принял сочувственно. Он верил: освободившись от самодержавной «крепи», Россия станет Великой Крестьянской Республикой, кормилицей и поилицей всего мира.

А коли так, значит, и он, ее певец и глашатай, по праву претендует на роль Первого Поэта Современности. Ссылаясь на Софью Андреевну Толстую-Есенину, некоторые комментаторы пишут, что стихотворение Есенина «Разбуди меня завтра рано...» — первый отклик поэта на февральские события. Но это недоразумение, ошибка памяти, может быть, идущая от самого Сергея Александровича: стихи были опубликованы лишь в марте 1918 в газете «Вечерняя звезда», а в те напряженные месяцы, когда надо было спешить утвердить *себя и свое* в новой и сложной ситуации, Есенин ни за что не стал бы почти год *таить* столь выигрышный текст! Ошибка, однако, знаменательная: точную дату поэт по обыкновению забыл, а вот то, что именно с Февралем связывал надежды на решительные перемены и в стране, и в собственной судьбе, твердо запомнил.

Кстати, «февральская метель» не застала Сергея Александровича врасплох. Одна из его питерских знакомых свидетельствует: еще осенью 1916 года после поездки на фронт (в составе медперсонала санитарного поезда) Есенин говорил ей, правда, под страшным секретом и наедине: «Революция будет завтра или через три месяца».

На самом деле первым откликом Есенина на крушение империи, падение монархии и отмену утеснений — рудиментов «крепи» (крепостного права) был поэтический манифест, написанный от лица группы («купницы») крестьянских писателей (Клюева, Клычкова, Чапыгина):

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встанет иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиранный Миколай.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Полагая, что наконец-то пришло его время, Есенин меняет и стиль личной жизни: в июле 1917 года женится (венчается в церкви!) на Зинаиде Николаевне Райх, красивой, энергичной, самостоятельной девушке из трудовой провинциальной семьи. Да, он влюблен, но дело не столько в эмоциях, сколько в осознанном желании остепениться: негоже первому поэту «воспрянувшей Руси» слыть бездомником и бродягой! Впервые в жизни снимает приличную квартиру, радуется рождению дочери (июнь 1918), дает ей, как

продолжательнице рода по женской линии, имя матери — Татьяна. (Второй ребенок Есенина от Зинаиды Райх родился уже после их окончательного разрыва, в марте 1920, однако и имя сыну выбрано со значением, по месту рождения отца: Константин.)

С не меньшим воодушевлением встретил Есенин и Октябрьскую революцию. И хотя членом ВКП(б) он так и не стал, ничуть не лукавил, написав в одной из автобиографий: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Окрыленный большевистским Декретом о земле («земля — крестьянам»), он даже внешне переменялся — сбросил, точно лягушачью кожу, и тихость «ласкового послушника», и улыбочивость «вербного херувима». Вот каким запомнил его Вяч. Полонский, литературный критик и главный редактор журнала «Новый мир»:

«Надо было видеть его в те годы. Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружился в творческом неугомоне. В нем развязались какие-то скрепы, спалили какие-то обручи. Из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаля. С обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную “Инонию”».

Замечательная «Инония» — центральная часть многоглавого цикла; в течение двух лет (1917–1919), забросив лирику, Есенин написал десять — целую низку — маленьких поэм: «Певущий зов» (апрель 1917); «Отчарь» (июнь 1917); «Октоих» (август 1917); «Пришествие» (октябрь 1917); «Преображение» (ноябрь 1917); «Инония» (январь 1918); «Сельский часослов» (1918); «Иорданская голубица» (июнь 1918); «Небесный барабанщик» (1918), «Пантократор» (февраль 1919).

Поэмный цикл 1917–1919 годов — произведение дерзко новаторское. Это *вместе*: и Новый Завет новой веры, нечто вроде Евангелия от Сергия, и языческие игрища в честь телицы-Руси, отелившейся в «русский кров» новым солнцем, и философическая эпопея, где собраны и одеты в плоть причудливых образов фольклорные представления об исходе мира и назначении человека. Главная мысль, связывающая цикл в книгу из отдельных поэм, сформулирована уже в первой ее части — «Певущем зове»: «Не губить пришли мы в мире, а любить и верить».

Лев Троцкий в предисловии к легендарному сборнику «Памяти Есенина» (1926) утверждал:

«Есенин погиб потому, что был несроден революции. Маленькие поэмы опровергают это утверждение. Ни одно из созданных в те годы поэтических произведений, включая “Двенадцать” Блока, не могут соперничать с ними по части органического сродства с мужицкой стихией, разбуженной эпохой войн и революций. Недаром сам Есенин считал год завершения этого труда лучшей порой своей жизни, ибо был убежден, что создал мужицкую поэтическую Библию, книгу книг начала новой цивилизации, потому и себя видел то в образе восьмикрылого серафима: “Грозовой расплескались вьюгою от плечей моих восемь крыл”, — то в роли и облике пророка: “Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей”».

Итак, первые послереволюционные годы — лучшая пора жизни, а в конце следующего, 1920-го, «пророк Есенин Сергей» признается своему идейному наставнику, критику Р. Иванову-Разумнику: «Я *потерял... все, что меня радовало...*»

Что же случилось в эти месяцы? И что конкретно поэт *потерял*? Лично с Сергеем Александровичем ничего чрезвычайного вроде бы и не произошло, если не считать разрыва, а потом и развода с Зинаидой Николаевной Райх. Однако эта потеря («*много в жизни смешных потерь*») в переполненном большими ожиданиями году не воспринималась как невосполнимая утрата. Ни Есениным, ни Райх, ведь они молоды, вся жизнь впереди, а *разворошенный бурей быт* так труден, что его легче перемогать в одиночку!..

Впрочем, судя по широко известному «Письму к женщине» (1924), в котором (как считала сама Зинаида Николаевна, а со слов матери и дочь поэта Татьяна Сергеевна) отражены обстоятельства их расставания, из своей единственно настоящей семьи Есенин уходил вовсе не так *легко* и *радостно*, как выглядело со стороны. Не вынося никаких житейских «скреп», и прежде всего «уз семейственности», Сергей Александрович тем не менее втайне нуждался и в узах, и в семейственности, его будто разрывали пополам два

несовместных устремления: жажда воли, полной, безграничной свободы и страх перед погибельной ее «отравой». А кроме того, пока Зинаида Николаевна не стала женой знаменитого режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда, они и расставшись время от времени все-таки встречались. Словом, ничего сильного и исключительного, меняющего качество жизни в разладе с семьей не было; куда более судьбоносным, давшим новое и неожиданное направление не только жизни, но и творчеству, оказался для Есенина (как ни странно) переезд из Петрограда в Москву.

«Посмотрим — кто кого возьмет»

В одной из автобиографий Есенин утверждает, что переехал в Москву ранней весной 1918 года *«вместе с Советской властью»*; на самом деле поэт переменил место жительства по семейным обстоятельствам — покинув столицу вместе с женой, точнее, вслед за женой, которая работала машинисткой в секретариате Наркомпрода и по этой технической причине оказалась в правительственном поезде. Есенин же задержался в Петрограде еще на несколько дней — он обещал Александру Блоку, которого бойкотировала столичная элита и за поэму «Двенадцать», и за статью «Интеллигенция и революция», быть на его вечере.

Москва встретила Есенина негостеприимно; избалованный опекой и ласками питерских литераторов, он даже несколько растерялся. В Москве, как выяснилось, никто его толком не знал, здесь еще нужно было доказывать, что он без пяти минут «знаменитый русский поэт», а не рязанский подголосок Клюева.

Георгий Феофанович Устинов, писатель и журналист, в первые после-революционные месяцы — ответственный работник Центропечати, запомнил, как на литературном собрании в помещении издательства ВЦИК (на углу Тверской и Моховой) осенью 1918 года появился никому не известный желтоволосый, слегка курчавый мальчик — нелепо одетый (поддевка, сапоги бутылочками, серенький длинный шарф) и почему-то ласково и застенчиво улыбающийся решительно всем. Появление Есенина в просоветски ориентированной аудитории Устинов объясняет тем, что Есенин уже тогда, в 1918, решительно и бесповоротно «повернулся лицом к большевистским Советам». Вряд ли это так. Ведь тот же мемуарист свидетельствует, что именно на этом собрании мальчик в сереньком шарфе выступил с таким заявлением: «Революция... это ворон, которого мы выпускаем из своей головы на разведку. Будущее больше...» Хотел еще что-то добавить, но смешался и замолчал. Устинову заявление показалось невразумительным. Однако в этой и впрямь вне контекста малопонятной фразе (Есенин не умел говорить на публику) — вполне определенная и весьма продуманная позиция, получившая обоснование в теоретическом трактате «Ключи Марии» (1918):

«То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: “Ной выпускает ворона”. Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности».

Судя по «Ключам Марии» и выступлению в издательстве ВЦИК, к строителям пролетарской культуры Есенин уже тогда, в 1918, относился с внимательной настроенностью, хотя по приезде в Москву и сделал несколько попыток сблизиться через своего приятеля и сотоварища по крестьянской «купнице» поэта Сергея Клычкова с пролетарскими писателями.

Кстати, у Сергея Александровича была возможность понаблюдать пролеткультивцев в повседневном быту и крупным планом: некоторое время он жил вместе с Клычковым в помещении Пролеткульта, то бишь в роскошном особняке купцов Морозовых на Воздвиженке (правда, на его с Клычковым долю досталась всего лишь ванная комната). Тогда же и получил единственный в своей творческой жизни правительственный заказ: со-

чинить Кантату для празднования первой годовщины Октябрьской революции. Олицетворяя смычку серпа и молота, за сочинение траурного гимна (в честь павших за победу трудящихся героев Октября) взялись два самых мастеровитых в революционных кругах поэта — Сергей Клычков (делегат от крестьян) и Владимир Кириллов (представитель пролетарских масс); третьим на подмогу пригласили Есенина. На этом, видимо, настоял скульптор Сергей Коненков, друживший с «Сергунькой» и восхищавшийся его стихами. Торжество состоялось на Красной площади и, в отличие от всех последующих ритуальных реверансов, олицетворяло идею мира. Мира, который якобы несла населенцам земного шара пролетарская революция. Во всяком случае, Коненков, автор памятного барельефа на Кремлевской стене, именно так понимал свою задачу: «Мне хотелось, чтобы на древней Кремлевской стене зазвучал гимн в честь вечного мира».

Обратите внимание на это выражение: *вечный мир*. Лучшие люди России, из тех, кто в первые послеоктябрьские годы относился к революции сочувственно или хотя бы лояльно, действительно верили, что после того, как Красная Армия, подавив белое движение, справится с «силами Антанты», на земле установится вечный мир. Верил в эту утопию и Есенин, как верил (так и хочется употребить другую, торжественную форму этого глагола: *верую!*) и в то, что его «отчарь» («*Здравствуй, обновленный отчарь мой, мужик!*») преодолеет искус «гибельной свободы»:

Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в очах,

И горит на плечах
Необъемлемый шар.

Однако в целом атмосфера пролеткультовских общих собраний, их классовый фанатизм, их истовая и слепая вера в исключительность пролеткультовского искусства не могли не настораживать Есенина, «умный» его ум видел то, чего подавляющее большинство предпочитало не замечать: у придуманного головастика пролетарского социализма и его узкого искусства нет будущего! Разумеется, Есенин был не единственным литератором, понимавшим уже тогда, как тяжелы и «неполетны» крылья пролеткультовского черного ворона. В начале двадцатых годов замечательный украинский прозаик Микола Хвильевой под улюлюканье харьковских «пролетарцев» упрямо доказывал практически то же самое:

«Говорить о пролеткульте, о пролетарской культуре — говорить абсурд, поскольку классовая культура, то есть сумма всего созданного усилиями хозяина положения имеет консервативные тенденции: она убеждает класс в бесконечности его диктатуры; поэтому истинное назначение патриотов Страны народных советов: довести до осознания и верха и низа необходимость иной ориентации — на общечеловеческие, общегуманистические ценности, на приоритет свободы над узостью любого рода, как классовой, так и национальной».

Миколу Хвильевого, который перевел еретическую мысль на язык нагой публицистики, «пролетарцы» чуть было не закидали камнями. Есенина, этим языком не владевшего, к счастью для него, не поняли, хотя выступил он с опасным заявлением не в провинциальном Харькове, а в правительственной Москве. Те же, кто догадался, *на что намекает* косноязычный оратор, сочли за лучшее промолчать, сделав вид, будто желтокудрявый молодой человек несет окопесу.

Воспоминания Георгия Устинова дают также основания предполагать, что выступление Сергея Есенина на собрании издательства ВЦИК было чем-то вроде личного манифеста, то есть сводом условий, на которых поэт мог бы, не теряя себя, сотрудничать с Советами. От него отмахнулись. Здесь, в Москве, он был никем, этот застенчивый мальчик в «гамбургских» сапогах... Постановление ЦК ВКП(б) о работе с известными писателями, доставшимися Стране Советов от старого мира, его не касалось. Вот тут-то судьба и подбросила ему как бы случайную встречу с Анатолием Борисовичем Мариенгофом. Он поразил Есенина тем, что помнил наизусть все, что Сергей

Александрович публиковал в петроградской периодике! К тому же сей долговязый франт, вчерашний пензенский гимназист, и сам сочинял образы и хотя называл их «имажи», на французский манер, на первый взгляд они очень походили на его, есенинские, органические фигуральности. Например: «Повезут розовые кони зари другое небо...» Это у Мариенгофа. А у Есенина:

Приди, явьсь нам, Красный конь!
Впрягись в земли оглобли!
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Мариенгоф, не мешкая, познакомил своего нового единомышленника сначала с однокашником по пензенской гимназии Ванечкой Старцевым, заочно влюбившимся в имажи Сережи Есенина, а затем, после нескольких дипломатических заходов, и с Вадимом Шершеневичем.

Шершеневич, посредственный, без харизмы поэт (из всего им написанного в памяти народной осталось только одно двустишие: «Мне бы только любви немножечко да десятка два папирос», модное в 1920-е годы), но опытный и эрудированный литератор сразу же поставил полумальчишескую игру в имажи на солидные «теоретические» рельсы: учредил Великий Орден Имажинистов. В рекламном и житейском отношении, учитывая литературное одиночество Есенина после отрыва от привычной и доброжелательной петроградской литературной среды, это была удачно выбранная компания. Шумно и умело пропагандируя самих себя, магистры Великого Ордена «раскручивали» и Есенина. Вдобавок у формального лидера новопридуманной группы Шершеневича был не только энергичный профиль Шерлока Холмса, но и бульдожья коммерческая хватка, а у Мариенгофа — прочные родственные связи в средних эшелонах новой администрации. Нажав на нужные инстанции, имажинисты со сказочной быстротой обзавелись собственностью: и издательством, и книжной лавкой, и журналом «Гостиница для путешествующих в прекрасном», а самое важное — литературным кафе чуть ли не на самом бойком месте в Москве — на Тверской, неподалеку от нынешней Пушкинской площади. Называлось кафе эффектно: «Стойло Пегаса», и, хотя помещение было скромным, а меню нищенским («фирменное» пирожное — черничная нашлапка на подошве из картофеля), заведение приносило «хозяевам» небольшой, но верный доход. Есенину, единственному кормильцу на две семьи (Зинаида Николаевна уехала рожать в Орел, к родственникам, а отец, потеряв работу, вернулся в Константиново), деньги были нужны позарез. Уже через месяц после открытия по Москве пошли слухи о том, что в новом кафе на Тверской, бывшем «Боме», потрясающе читает стихи потрясающий поэт. От желающих убедиться в их достоверности отбою не было, а это еще крепче привязывало Есенина к «Стойлу». Впервые в жизни у него появилась своя аудитория — не оценивающая, а сочувствующая и сопереживающая. Именно тогда написана самая известная книга Есенина «Москва кабацкая» (1922–1924); по популярности с ней могут сравниться разве что стихи 1925 года (фактически это последний, полностью скомпонованный, но так и не изданный целиком сборник — от «Несказанное, синее, нежное...» до «До свиданья, друг мой, до свиданья...»).

Настоящая, вечная слава пришла к Есенину лишь после смерти. И все же, когда в «Анне Снегиной» он называет героя поэмы, фактически своего двойника, «знаменитым поэтом», хотя действие поэмы начинается летом 1917 года, когда Есенин ничего похожего на кабацкие стихи не писал и не издавал, это не натяжка и не преувеличение. Речь вовсе не о скандальной известности в богемных и полубогемных кругах. В годы нэпа Есенина читает чуть ли не вся Россия — «от красноармейца до белогвардейца». Вот как объяснил этот удивительный факт один из думающих и внимательных современников поэта:

«Всякая завершившаяся успехом революция есть перестройка не только внешних форм, но и перестройка психики. Совершенно естественно, что эти операции сопровождаются определенным чувством боли, которую лучше всего охарактеризовать как боль перестройки и которая ощущается всеми слоями

общества. Есенин за всех сказал об этом мучительном и неизбежном чувстве, которое он испытал во всей полноте, и вот за это его любят, если не все, то столь многие».

Высказывались, конечно, и другие суждения. Неистовые ревнители пролетарских идеологических ценностей истолковали стихи про кабацкую Русь как подкоп под советские устои, дескать, упаднические эти стихи не что иное, как «ушедшая в кабак контрреволюция». Но почитателям поэта, осаждавшим «Стойло Пегаса», приходившим загодя, чтобы занять хотя бы стоячее, в дверях, место, когда Есенин «всю ночь, напролет, до зари» читал свои упаднические стихи, до идеологических запретов, спущенных сверху, не было никакого дела...

Разумеется, только к практической «выгоде» союз Есенина с имажинистами сводить нельзя. К убеждению, что «огромная и разливчатая жизнь образа» является «основой русского духа и глаза» и что первым имажинистом был автор «Слова о полку Игореве», Сергей Александрович пришел еще до встречи с Мариенгофом. Разногласия, естественно, были и обнаружались сразу же, при совместной работе над «Декларацией имажинизма». Хотя формально он подписал групповой манифест, но оставил за собой право на особое мнение: дескать, органической образности молодые поэты учиться должны у него, а не у изобретателей декоративного имажинизма. Вот что писал Есенин в эссе «Быт и искусство» в 1921 году, в разгар «холодной» войны за передел сфер влияния в пользу Великого Ордена и его оруженосцев:

«Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы. ...такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных впечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве», которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума».

Шершеневич, человек умный и трезвый, право Есенина на особое мнение вслух и письменно не оспаривал, однако на практике и в рамках тактики лидерствовал не формально, а по существу, что не могло не задевать самолюбие Сергея Александровича: в чем, в чем, а уж в том, что именно он, Есенин Сергей, *развил* этот образ и *положил краеугольным камнем* в своих стихах, он ничуть не сомневался. Не пошел ему впрок и грубо-богемный стиль поведения, ходом вещей сложившийся в «кафейный период» в имажинистском клане. В «Стойле...» ночь напролет не только читали (с эстрады) стихи, здесь еще и хорошо-крепко пили-гуляли. Есенину же водку подносили безотказно, как процентную добавку к «артельному паю» за делающие большие сборы выступления. И тем не менее, несмотря ни на что, странноватый этот альянс Есенина до 1924 года в целом почти устраивал. А к Мариенгофу он вообще искренне привязался, в чем и признался публично в стихах, подарив их милому другу Толе весной 1922 года: *«Среди прославленных и юных ты был всех лучше для меня»*. При всем своем «эгоизме» Есенин очень даже нуждался в «оголтелом счастье дружбы», хотя и не упускал случая, чтобы подчеркнуть «крайнюю» свою «индивидуальность». Мало того, «крайняя индивидуальность», как и легендарная — а ля Пушкин — «крылатка», были ему на диво к лицу. Тем не менее в глубине души поэт, видимо, и сам не знал, что с этой своей самостью, ни-на-кого-не-похожестью делать. Вот и прятался от крайности, от «неповторимости», от самого себя в купницы, группы, компании!

Друзья неразлей вода и комнату-то сначала снимали, а потом и купили одну на двоих, и вполне сносно уживались, пока Анатолий Борисович как-то уж очень скоропалительно не женился на хорошенькой актрисе Камерного театра. К тому же милый друг Толя куда ловчее, чем непрактичный Есенин, устраивал и общеиздательские, и житейские дела. Это именно он через своего земляка Григория Колобова, оборотистого чиновника Наркомата путей сообщения, организовал поездку в Харьков весной 1920 года. Ничего рокового при сборах не предполагалось, повод был незначительный: в одной из Харьковских типографий печатался очередной сборник имажинистов «Харчевня зорь». Но молодым людям, прямо-таки озверевшим от московского неуютя (зиму они прожили при

пяти градусах «комнатного холода»), уж очень захотелось и проветриться, и согреться. И не только украинским ранне-весенним солнцем: всесильный Колобов предоставил в их полное распоряжение спецвагон со спецотоплением! Впрочем, ехали наши путешественники хотя и со спецудобствами, но малой скоростью, и Есенин впервые в жизни увидел не на расстоянии, а лицом к лицу край, охваченный мужицким бунтом, — он опишет его несколько лет спустя в драматической поэме «Страна негодяев»:

И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора осторожная
И крестьянство так любят Махно?

И это не единственный урок политграмоты, преподнесенный певцу и глашатаю мужицкой правды страшной новью 1920 года.

«Идет совершенно не тот социализм»

И Анатолий Мариенгоф, и их общий с Есениным приятель Лев Повицкий, осевший в Харькове, в один голос твердили потом, что гостевание московских имажинистов в семье Лифшица, у которого был целый выводок хорошеньких дочерей, превратилось в сплошной домашний праздник: стихи, шутки, влюбленности, смешные и трогательные воспоминания из детских лет. И никакой, упаси Боже, политики. В эту явно подцензурную версию можно было бы и поверить, если бы не сохранилось письмо Есенина к одной из дочерей Лифшица — Жене. Пересказав девушке ставший хрестоматийным дорожный эпизод с живым жеребенком, который хотел, да не смог обогнать чугунный паровоз, Сергей Александрович разъясняет юной корреспондентке смысл самой жизнью сочиненной сюжетной метафоры:

«Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной. <...>

Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают...»

Как ни верти этот текст, а письмо странное... Рассуждать на расстоянии с девятнадцатилетней, малознакомой девушкой о революции, повернувшей не в ту сторону, о неправильном социализме, теснящем все живое, о лике Махно? Да еще и при явной нелюбви к писанию длинных писем, а главное, зная, что подобные сюжеты, все до единого, крайне опасны для общения по почте?

Но странность этой переписки перестает удивлять, если предположить, что Есенин продолжает начатый в Харькове серьезный разговор о России и революции и что круг опасных тем задан в весенних диалогах-диспутах москвичей с харьковчанами.

Долгое время биографы поэта, комментируя его письмо к Жене Лифшиц (август 1920), утверждали: Сергей Александрович просто-напросто интересничал с приглянувшейся ему хорошенькой барышней. Теперь, когда наконец-то опубликованы и письма В. Короленко Луначарскому (июль–сентябрь того же года, из Полтавы), и харьковская поэма Велимира Хлебникова «Председатель чеки» (написана после отъезда имажинистов, но о событиях, предшествующих их визиту), такое предположение уже не кажется невероятным. Особенно если учесть, что Есенин и его спутники, встретившись в Харькове с Хлебниковым, выпросили у него стихи для публикации в «Харчевне зорь», а сам Есенин

надеялся пристроить в этот сборник «Кобыльи корабли». Конечно, он читал поэму в «Стойле Пегаса», две самые резкие строки:

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего, —

были даже написаны на стенах кафе, однако соваться с опасным текстом в московские издательства, по понятной предусмотрительности, видимо, все-таки опасался. А текст и впрямь был крамольный:

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?

И далее, там же:

Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.

Даже «Окаянные дни» Ивана Бунина и «Несвоевременные мысли» Максима Горького не производят такого сильного эмоционального впечатления, как есенинский приговор революционному террору и благословляющей насилье — «кровь на отцах и братьях» — революции: казалась чудесной, а оказалась страшной гостьей!

Сказать, что Есенин прозрел вдруг — значит, исказить правду чувств и обстоятельств. К нему в полной мере можно отнести слова, сказанные современником о Велимире Хлебникове: «Его угнетала революция, как она проявлялась тогда, но не верить он не хотел и бодрился». Парадоксальное это сочетание угнетения, от себя самого скрываемого, и самовнушенной бодрости характерно и для лирического героя маленьких поэм Есенина, созданных в 1918–1919. Например, уже в «Октоихе» оптимистическая восторженность в финале, по существу, приглушена явлением таинственного «корабля звезды», и как выясняется в следующем за ней «Сельском часослове», звездолет ниспослан свыше, чтобы увезти («с земли на незримую сушу») тех россиян, чьи души «смущены от происходящего». И все-таки общий тон поэмого цикла первых двух послереволюционных лет скорее мажорный, не случайно его замыкает поэма «Пантократор». Название отсылает нас к Библии, к книге пророка Иеремии, где среди множества вещей предсказаний есть и пророчество о нашествии на несправедливый город, в котором — «всяческое угнетение» *народа сильного*. От лица этого сильного народа (пантократора) и затевает лирический герой поэмы спор с тайной Бога:

Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь!

.....

За седины твои кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.

«Пантократор» окончен в феврале 1919, а поздней осенью того же года Есенин примется за «Кобыльи корабли», в которых нет и следа недавней бодрости...

Когда-то Александр Блок подарил Есенину отрывок из «Возмездия». Начинается он так: «Жизнь — без начала и конца. Нас всех подстерегает случай...» Случаем с большой буквы оказалось и харьковское путешествие, потому что ранней весной 1920 в Харькове Есенин впервые получил возможность собственными глазами увидеть и «отрубленные руки» своих отчарей-мужиков, и то «бешеное зарево трупов», которое вдруг как бы само собой возникло в бездне его внутреннего зрения уже при работе над первым вариантом «Кобыльих кораблей»!

...В степях Украины гулял крестьянский бунт, беспощадный, но отнюдь не бессмысленный: за землю, за волю, за лучшую долю. Отловленных бунтарей войска особого

назначения привозили (вагонами!) в пыточные камеры здешней Лубянки, где распоряжался некто Саенко. Мрачный замок чеки стоял на окраине города, на краю глубокого оврага. Изувеченные трупы «негодующих» выбрасывали туда прямо из окон. В марте, когда Есенин появился в Харькове (весна выдалась бурной и ранней), страшный овраг стал оттаивать... Все это изображено в уже упомянутой поэме Хлебникова «Председатель чеки»:

Тот город славился именем Саенки.
 Про него рассказывали, что он говорил,
 Что из всех яблок он любит только глазные.
 Дом чеки стоит на высоком утесе из глины,
 На берегу глубокого оврага,
 И задними окнами повернут к обрыву.
 Оттуда не доносилось стонов.
 Мертвых выбрасывали из окон в обрыв.
 Китайцы у готовых могил хоронили их.
 Ямы с нечистотами были нередко гробом.
 Гвоздь под ногтем — украшением мужчин.
 Замок чеки был в глухом конце
 Большой улицы на окраине города.
 И мрачная слава окружала его, замок смерти.

Даже в изданной в Киеве в 1967 году «Истории Гражданской войны на Украине в 1918–1920 гг.» не отрицается, что Харьков в те годы был поглощен разговорами о страшной улице: «Распространялись самые нелепые и невероятно ужасные слухи о Чрезвычайной комиссии и отдельных ее членах, например о т. Саенко».

Теперь-то мы доподлинно знаем, что ужасные слухи возникли не на пустом месте, но и тогда были мужественные люди, которые осмеливались говорить о преступлениях новой власти вслух. Один из них — Владимир Галактионович Короленко. И если читать его письма к Луначарскому о том, что же на самом деле происходит в «степях Украины», страшно и нам, потомкам; каково же было современникам внимать ужасам войны народной власти со своим же народом, тем более что ужасы и в самом деле преувеличивались слухами. И если бы Есенин, волею случая оказавшийся в центре крестьянской Вандеи, не наглотался невероятных слухов, вряд ли даже он сумел бы добиться ужасающей выразительности в той сцене из «Пугачева», где мятежников сначала атакуют, а потом окружают страшные слухи:

Около Самары с пробитой башкой ольха,
 Капая желтым мозгом,
 Прихрамывает при дороге...
 Все считают, что это страшное знамение,
 Предвещающее беду.
 Что-то будет.
 Что-то должно случиться.
 Говорят, наступит глад и мор...

Даже интонационно предчувствие Есенина: «Быть беде! Быть великой потере!» — поразительно похоже на прогноз Короленко:

«Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается от предчувствия, что мы еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь...»

Бывают странные сближения! Эта пушкинская мысль невольно приходит на память, когда сопоставляешь письма Есенина и Короленко.

19 августа 1920 года Короленко пишет из Полтавы Луначарскому:

«Махно, называющий себя анархистом... фигура колоритная и в известной степени замечательная. Махно — это средний вывод украинского народа, а может быть, и шире».

В том же году и тоже в августе на Украину было отправлено и уже цитировавшееся письмо Есенина к Жене Лифшиц.

Если принять во внимание, что имажинисты разъезжали по бунтующим южным провинциям с охранной грамотой, подписанной тем же Луначарским, можно, наверное, предположить, что Есенину каким-то образом стало известно содержание секретной переписки Короленко с наркомом просвещения. Но скорее всего, это именно странное сближение...

Вернувшись из Харькова, Сергей Александрович, не дожидаясь июньской теплоты, кинулся в родную деревню. Картина, которую он там застал, была удручающей. Торговля прекратилась. Не было ни спичек, ни керосина, ни ниток-иголок. Вместо хлеба — мякина, щавель, крапива и лебеда. А в придачу — эпидемии. У людей — сыпной тиф. У скотины — сибирская язва. Предчувствие не обмануло Есенина: «Будут глад и мор...»

Мариенгоф, провожавший друга, предрекал, что Сергей теперь долго не будет ничего писать. И ошибся: *окно*, распахнутое разбойным свистом крестьянского мятежа, Есенин уже не может *закрыть* даже голубыми ставнями отчего дома. Первым делом он доработал второй вариант «Кобыльих кораблей», где судьбоносный Октябрь, с которым было связано столько надежд, назван «злым» («Злой октябрь осыпает перстни с коричневых рук берез...»), и сейчас, в Константинове, еще раз редактировал его. А кроме того, неожиданно легко записалось стихотворение «Я последний поэт деревни...». Словно поэт заказал панихиду (и по вымирающей деревянной Руси, и по великой земледельческой культуре, и по себе, еще живому, но уже понимающему, что его время миновало:

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить...

В том же переломном 1920-м Есенин напишет трагический «Сорокоуст», где продолжит тему гибели крестьянского мира:

Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя...

В те же горькие дни тяжких раздумий о судьбе «равнинного мужика» возникает и замысел поэмы о Пугачеве, о роковой обреченности крестьянского бунта (она будет закончена поздней осенью следующего, 1921 года). Невероятно трагичны и частные письма поэта тех смутных, переломных лет.

Москва, декабрь 1921, Н. А. Клюеву:

«Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, о чем мыслю и отчего болею...»

Москва, март 1922, Р.В. Иванову-Разумнику:

«В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное...»

«Я искал в этой женщине счастья»

В ту же смутную осень 1921 года в мастерской примкнувшего к имажинистам художника Георгия Якулова Есенин впервые увидел Айседору или, как ее переименовали на русский лад — Изадору Дункан. Приехала Айседора поздно, в первом часу ночи. Впрочем, приехала — не то слово: явилась. И поразила воображение Есенина — не женщина, а некое диво, и впрямь заморская жар-птица! Мариенгоф, присутствующий при этой судьбоносной для обоих встрече, так описал ее в «Романе без вранья»:

«Красный хитон, льющийся мягкими складками, красные, с отблеском меди, волосы, большое тело. Ступает легко и мягко. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький нежный рот ему улыбнулся. Изадора села на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десяти русских слов, знала именно эти два. Потом поцеловала его в губы. И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, изломал русские буквы:

— Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!»

В четвертом часу утра Дункан и Есенин уехали, а на следующий день, когда сгорающий от любопытства и зависти Мариенгоф навестил друга в роскошном особняке на Пречистенке, отведенном знаменитой танцовщице под ее школу (Дункан приехала в красную Россию, чтобы учить русских детей Танцу Будущего), Айседора по просьбе Есенина исполнила свой коронный номер — танго «Апаш». Мариенгоф запечатлел первое в России исполнение покорившего Европу мини-шоу в щегольской прозе, Есенин — в гениальных стихах:

Мариенгоф:

«Страшный и прекрасный танец. Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожны-ми пальцами сдавливала горло. Беспомощно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани. Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего прозрачного партнера. Есенин был ее повелителем, ее господином... И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, безвольный и трагический. Она танцевала. Она вела танец».

Есенин:

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Встреча с Дункан и впрямь оказалась для Есенина гибельной. До романа с легендарной американкой, которая давно, после гибели детей, «злоупотребляла алкоголем», длительных запоев за ним не водилось. Да, он пил («заливая глаза вином»), но от случая к случаю, как «сто тысяч таких в России». Годы, проведенные в законном браке с мировой знаменитостью, превратили пагубную привычку в болезнь. Правда, в первые месяцы их романа, по требованию Дункан, в особняке на Пречистенке ничего, кроме шампанского, не держали; по горло занятая работой с детьми, Айседора сделалась домоседкой, и когда выпадали свободные от гостей дни, Есенин запойно работал, готовя к печати «Пугачева». Кстати, Айседоре первой он подарил отдельное издание своей драматической поэмы, сделав такую дарственную: «За все, за все тебя благодарю я...» Той же осенью написана и «Волчья гибель». Но друзья одолевали, а где друзья, там и водка... И сплетни: ежели связался с богатой старухой, гони деньги! Между тем с деньгами было негусто: ни за занятия с русскими детьми, ни за концерты Айседоре не платили, доллары и фунты, которые она привезла с собой, таяли, как вешний снег, а надо было еще подкармливать и детей, и обслуживающий школу персонал. А где водка и сплетни, там и скандалы... И тем не менее зиму скоротали почти в любви и согласии:

Есенин все еще очарован артистичностью экстравагантной иностранки, да и чувством гениальной босоножки к изумительному рязанскому поэту управляют не только поздняя страсть и «чувственная вьюга», помноженная на ревность избалованной славой женщины, стремительно теряющей легендарную грацию и красоту. Тут многое сплелось и отозвалось: и нежность, которую «ни с чем не спутаешь», и щедрость, и вечная за него тревога: белокурой своей кудрявостью и еще чем-то, неуловимым и несказанным, Есенин напоминал и словно бы заменял безутешной матери трагически погибшего в младенчестве сына. А кроме того, Есенин, единственный из любивших Айседору знаменитых мужчин, неведомо каким образом сразу понял главное в ней: сумасшедшую, бешеную ее жизнь — жизнь, проданную за танец. Потому понял, что и сам был такой — «пропащий»: «Жизнь моя за песню продана».

Даже в обстоятельствах их гибели есть какое-то почти мистическое сходство. Менее чем через два года после смерти Есенина Айседору Дункан задушила ее собственная шаль, запутавшаяся в колесе прогулочного автомобиля (словно *шелковая ткань*, которую Изадора очеловечила в танго «Апаш», взбунтовалась и отомстила артистке!). На людной

улице. Посреди сентябрьской Ниццы. И точно так же, как много лет назад, когда машина с двумя ее маленькими детьми, потеряв управление, рухнула в Сену, никто ничего не успел сделать...

Илья Ильич Шнейдер, коммерческий директор московской танцевальной школы Дункан и муж ее приемной дочери Имры, собрав по крупицам свидетельства очевидцев, оставил в своих воспоминаниях реконструкцию этого трагического события:

«...В тот сентябрьский вечер раскаленный асфальт Promenade des Anglais жарко дышал впитанным за день солнцем. Айседора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила, и, закинув за плечо конец красной шали с распластанной желтой птицей, прощально махнула рукой и произнесла последние в своей жизни слова:

«Adieu, mes amis! Je vais a la gloire! (Прощайте, мои друзья! Я мчусь к славе!)»

Несколько десятков секунд, несколько поворотов колес, несколько метров асфальта... Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины, тихонько лизнула сухую вращающуюся резину колеса. И вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айседору за горло. И остановилась только вместе с мотором.

Прибывший врач сказал:

— Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно.

Чтобы освободить голову Айседоры, притянутую к борту машины, пришлось разрезать шаль.

Через два часа около студии Дункан в Ницце раздался стук лошадиных копыт. Это везли тело Айседоры из морга домой. Ее уложили на софу, покрыли шарфом, с которым она танцевала, и набросили ей на ноги пурпурную мантию... Хотя Айседору и не собирались хоронить в Ницце, мэр города, узнав, что среди бумаг Дункан оказалась справка, подтверждающая желание Айседоры принять советское гражданство, заявил, что не разрешит хоронить ее в Ницце. Утром пришла телеграмма от американского синдиката издательств, подтверждавшего договор на издание мемуаров Айседоры и сообщавшего о переводе через парижский банк денег. Она ждала этих денег, чтобы выехать в Москву. Голубоватые, цвета хмурого неба, листы нетронутой стопкой лежали на столе Айседоры... Страницы о годах, проведенных у нас, не были написаны... В Париже на гроб Айседоры был положен букет красных роз от Советского правительства. На ленте надпись: «От сердца России, которое скорбит об Айседоре». На кладбище Пер-Лашез ее провожали тысячи людей. После похорон в течение трех дней шло торжественное траурное заседание в Сорбонне под председательством Эррио. Комитет по увековечению памяти Айседоры принял решение поставить ей в Париже памятник работы Бурделя, но это решение не было выполнено».

Но все это в будущем и «таится во мгле», а в настоящем: в России разруха и хаос, у Есенина — беспробудная тоска. Да и Айседора порядком устала от непривычного быта. Не зная, как развлечь возлюбленного, чем вылечить злую его грусть, Дункан решила показать ему мир. Перед отъездом, в мае 1922 года, они даже расписались в советском загсе.

Вне России, «среди разных стран», Есенин прожил чуть больше года, до августа 1923 (галопом по Европам с заездом в Северную Америку) и, кажется, для того только, чтобы убедиться «во вреде путешествий». В Европе он чувствовал себя слишком русским, среди эмигрантской, парижской и берлинской элиты — слегка советским, а в Америке, назло сытым буржуям, почти влюбился и в комстроительство, и в прорабов его, взявшихся искоренить российскую «отсталость». Для этого пришлось, пусть и на краткий миг, когда поднялся на палубу второго «Титаника» — суперфешенебельного парохода «Париж», «разлюбить нищую Россию»:

«...Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха... прошел через танцевальный зал, и минут через пять, через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ваннные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про “дым отечества”, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за “Русь”, как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.

Милостивые государи!

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве».

Америка, пусть и ненадолго, ошеломив Есенина (очень скоро он догадается, что это всего лишь «Железный Миргород»), так сильно «переломила» ему зрение, что он даже переименовывает (в стихах, разумеется) бедную свою родину на американский лад: «Великие Штаты СССР».

Внезапному «покраснению» автора «Кобыльих кораблей» и «Сорокоуста», кажется, весьма поспособствовала Айседора Дункан, родившаяся, по ее же словам, «пламенной революционеркой». Ни годы великих бедствий, ни годы великой славы не излечили эту феноменальную женщину от романтического сумасбродства. Ее импресарио Юрок вспоминает:

«Первый взрыв произошел в Бостоне. Есенин открыл окно гардеробной в Симфони-Холле и, размахивая красным флагом в промозглом воздухе, прокричал по-русски что-то вроде “Да здравствует большевизм!”

Управляющий Симфони-Холла позвонил мне в Нью-Йорк. Мэр Керли был в бешенстве. Необходимо было отменить представление.

Я поймал Айседору по телефону...

“Он прелесть, ну, что я могу поделать? Он просто выпил лишнего. Мистер Юрок, не волнуйтесь. Он больше не будет!”

Кое-как мы успокоили и мэра, и разгневанных бостонцев. А на следующий день Есенин проделал все это снова... На сей раз толпа собралась на улице, и Есенин произнес речь. К счастью, в то время по-русски в Бостоне говорили не больше, чем сейчас, и представление благополучно продолжалось...

На следующее утро в Нью-Йорке я развернул газету и поперхнулся глотком кофе.

“Красная танцовщица шокирует Бостон!”, “Выходка Айседоры заставила зрителей покинуть Симфони-Холл!” Более *цветистые* газеты описывали, как Дункан сорвала красную тунику и, размахивая ею над головой, совершенно голая, произнесла красную речь.

Я позвонил в Бостон. Все оказалось правдой или почти все. Айседору действительно размахивала над головой красным, правда, все-таки красным шарфом, а не туникой и в самом деле кричала: “Это красный! И я такая же! Красный — цвет жизни и силы! Когда-то вы были дикими! Вольными людьми дикой Америки! Не позволяйте им приручать вас!”»

Кончилось ярко-красное турне Айседоры плачевно: самую знаменитую американку XX века лишили американского гражданства, но это не отрезвило ее, тогда как пробольшеvistские речи Есенина — не более чем мгновенный эмоциональный всплеск, может быть, даже род самовнушения, а вовсе не убеждение, все пункты которого *«имеют внутреннюю согласованность»*.

В Америке еще не улегся шум, вызванный скандальными выступлениями Айседоры и ничуть не менее эпатажными, на вкус среднего американца, выходками ее супруга, океанский лайнер еще только три дня как отчалил от Нью-Йоркского причала, а Есенин, забаррикадировавшись в шикарной каюте, уже строчит крамольное письмецо московскому своему приятелю и поэту-имажинисту Александру Кусикову:

«Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имеющих, а еще тошней выносить подхалимство своей же братии к ним... Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только, что ни к февральской, ни к октябрьской...»

О том, что Есенин не был близок большевикам в своем творчестве, свидетельствуют и его рукописи 1922–1923 годов. В готовом виде из почти кругосветного турне поэт привез лишь несколько стихотворений из цикла «Москва кабацкая» да два прекраснейших, но отнюдь не прокоммунистических наброска: план драматической поэмы «Страна негодяев» и первый вариант «Черного человека».

Четырнадцать заграничных месяцев Есенину оказалось достаточно, чтобы понять: и заморская жар-птица, и комфортабельное зарубежье ему ни капельки не нужны, хотя как законный супруг балерины с мировой славой он мог бы остаться в любой из столиц мира, не испытывая тех материальных затруднений, с какими столкнулась русская эмиграция первой волны.

«Вернулся я в родимый дом...»

Вопреки дурным ожиданиям, августовская Москва 1923 года встретила всемирного путешественника с почти доброжелательным любопытством. О том, чтобы срочно «усыновить» вчерашнего «хулигана» и «контрика», речь естественно не шла, но затруднений с публикацией очерков об Америке не было. «Железный Миргород» тут же, с колес, напечатали «Известия», с помпой, с минимальными купюрами, в двух номерах. Проявили заинтересованность и толстые журналы как левой, пролетарской, так и центристской ориентации. Первые — заинтригованные слухами о красных скандалах Есенина в Париже, Берлине и Америке, а главное, в надежде укрепить за счет Есенина свои не слишком-то могучие творческие ряды; вторые — потому что наконец-то разглядели в крестьянствующем имажинисте крупный художественный талант. Однако сняв или почти сняв опасения по линии политической, возвращение на родину обрушило на Есенина множество неприятных житейских проблем. За четырнадцать месяцев официального брака с «заморской жар-птицей» он смертельно устал: и от жадной ее последней любви, и от властной ревности, а пуще всего от унижительного для крестьянского сына и внука житья «на женин счет». Надо бежать! А бежать некуда.

В комнате, которую Есенин когда-то купил на паях с Мариенгофом, появились два новых жильца: теща милого Толи и новорожденный сын. Приобрести же другое жилье или хотя бы снять что-нибудь приличное, а не угол за занавеской, не на что. В прежние годы при жилищных затруднениях Сергей Александрович обычно удирал в Константиново, в год возвращения и этого запасного выхода у него не было: в августе 1922 почти полностью выгорело отчее село, сгорел и родительский дом.

Вид родного пепелища потряс суеверного Есенина. (При крепком телосложении и незаурядной физической силе он с отрочества отличался крайней впечатлительностью, что не только тревожило, но и удивляло родных. В одном из писем 1913 года под страшным секретом он даже жаловался закадычному своему другу Грише Панфилову: «Меня считают сумасшедшим и уже хотели было везти к психиатру». Александр Никитич после крупной ссоры с сыном действительно хотел обратиться к врачам, но его успокоили: с годами пройдет. Не прошло: в житейскую «стынь» душевная неуравновешенность усугубилась, хотя поэт и научился скрывать ранимость, взяв за правило: «...с горем в пиру быть с веселым лицом»...)

Отчаявшись обрести крышу над головой, Есенин обратился в правительство, написал прошение на имя Троцкого: согласен-де на любую жилплощадь. Есенину не отказали — ему просто ничего не ответили. Выручила Галина Бениславская (у нее, штатного сотрудника массовой газеты «Беднота», была комната в ведомственной коммуналке). Эта незаурядная девушка оказалась в ближайшем окружении Есенина еще до его романа с Дункан и безоглядно в него влюбилась. И хотя Сергей Александрович ничего ей не обещал, потому что, ценя как друга и «большую заботницу», не любил «как женщину», Галина Артуровна взяла на себя и секретарские обязанности, и домашние хлопоты и забо-

ты, причем не только о нем самом, а еще и о его сестрах, сначала о старшей, Екатерине, а потом и младшей — Александре.

Некоторые биографы называют союз Есенина и Бениславской гражданским браком. На самом деле отношения были тоньше и мучительнее, причем для обеих сторон. Бремя, которое сгоряча взвалила на свои худенькие плечи «сестра и друг», становилось порой непосильным — ведь Галина любила Есенина совсем не по-сестрински. Чтобы обуздать и горе, и гордость, завела себе серьезного поклонника, отношения с которым были отнюдь не платоническими. Узнав об этом, Есенин растерялся. Человек в высшей степени естественный, он мог понять, а следовательно, извинить «физическую измену» по страсти. Неверность по уму была вне его понимания. Нет-нет, он не взревновал, он обиделся — навзрыд, до безрассудства. Забрал сестер, носильные вещи, рукописи и назло женился на внучке Льва Толстого Софье Андреевне.

Вообще-то жениться всерьез Есенин, судя по всему, все-таки не собирался, да и не мог чисто формально, так как по документам продолжал числиться законным супругом Айседоры Дункан. Но мать Сони, невестка Толстого, не сочла регистрацию в советском загсе серьезным препятствием. В результате Сергей Александрович неожиданно для себя оказался двоеженцем, а в родословной внучки «гениального старца» (так при ссорах с Соней в сердцах он называл ее деда) появился еще один громкий титул: последняя жена великого поэта. Под защитой двух этих «охранных грамот» Есенина-Толстая и прожила до глубокой старости в почетном статусе главной хранительницы есенинского литературного наследия.

Бениславская же через год после гибели Сергея Александровича, будучи в состоянии тяжелой депрессии, покончила с собой на его могиле. Не выдержав последнего унижения, законная вдова сделала все, чтобы отнять у незаконной спутницы единственное, что могло бы заставить ее жить на земле, на которой больше не было ее Сергея, — право на заботу о сохранности рукописей, хотя что-то, а роль литературного секретаря Галина Артуровна исполняла безупречно с того самого дня, как (в сентябре 1923) Есенин перебрался вместе с нехитрым скарбом в ее коммунальное жилище, и была в курсе всех его литературных дел. Однако Софья Андреевна отстранила «соперницу» даже от консультаций при доработке четырехтомного собрания сочинений, затеянного еще при жизни поэта, а вышедшего уже после его смерти. Из всех словесных портретов Галины Артуровны самый замечательный принадлежит дочери Есенина Татьяне:

«Лишь один раз я видела отца не тихим и не грустным. Он был разговорчив, чуть насмешлив и почти весел. Это было днем... Отец пришел не один, с ним была Галина Артуровна Бениславская. Я то и дело взглядывала на Галю — такое необыкновенное лицо. Сросшиеся на переносице брови — как два крыла. С годами этот облик вспоминался мне все более загадочным и значительным. Я рано узнала о ее самоотверженной безнадежной любви, о бесплодных попытках оградить отца от «друзей», которые его спаивали. Мама (Зинаида Николаевна Райх, первая жена поэта) была немного знакома с Галей, относилась к ней с уважением и сочувствием. А в первую годовщину смерти отца кто-то позвонил нам и сказал, что Галя стрелялась и ее увезли в больницу. Из разговора мама не поняла, что Гали нет в живых, она помчалась в больницу с букетом цветов, вбежала в какую-то комнату и остолбенела, — там уже началось вскрытие. Встречающаяся в печати фотография Гали кажется мне совсем не похожей. Других я не видела... Мы с отцом сидели и разговаривали, а Галя все время стояла у окна, прислонившись к подоконнику, тонкая, с гладкой прической, бледная, серьезная, строгая».

В том же 1925 году в тот же дом на Новинском бульваре, где жили с матерью и отчимом Вс.Э. Мейерхольдом его дети, Есенин приводил и Софью Андреевну Толстую. Детская память Татьяны сохранила и этот эпизод, но ничего значительного, кроме очень толстой косы, в облике новой жены отца она не обнаружила:

«Нас с Костей уже выпускали одних во двор... Стояло ясное бабье лето. В один из теплых солнечных дней, когда мы играли с ребятами в нашем огромном дворе, я издали увидела отца. Он шел очень быстро, а рядом, с трудом поспевая за ним, шагала девушка в белом платье, ее толстая темная коса покачивалась на ходу. Я подбежала поближе, он поманил меня и попросил позвать кого-нибудь из взрослых. Дома была только бабушка, я нашла ее на кухне... Бабушка вышла, вытирая фартуком руки.

— Познакомьтесь, моя жена, — сказал отец своей бывшей теще. В голосе его слышался чуть насмешливый вызов.

— Да ну-ну, — заулыбалась бабушка. — Очень приятно.

Вот и все. Они тут же ушли. Отцу было явно не до нас. Он недавно вернулся с Кавказа, куда ездил с Софьей Андреевной Толстой, и вскоре, 18 сентября, зарегистрировал свой брак с ней в Хамовническом загсе. Возможно, по дороге оттуда (это было недалеко) он и заходил к нам».

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...»

В сентябре 1924 Есенин надолго уехал в Грузию. В ту осень резко обострилась борьба, фактически война на истребление, которую вот уже несколько лет с переменным успехом вели идеологи новой власти с не поддающейся перековке русской литературой. Пролеткульты, правда, все-таки распустили, но пролеткультовский дух оказался неистребимым: его унаследовали и МАПП, и РАПП, окопавшиеся в двух суперпролетарских журналах — «Октябрь» и «На посту». Василий Наседкин, поэт и жених сестры Есенина Екатерины, вспоминает, что Сергей Александрович, обычно старавшийся не афишировать свои литературные взгляды, попав на поэтический вечер, где выступали главным образом «мапповцы» (члены московской ассоциации пролетарских писателей), — его и пригласила туда знакомая хорошенькая «мапповка», — не дослушав выступления известного в этих кругах поэта, ушел — «нервно, решительно, молча, даже не попрощавшись со своей спутницей». О том, что эта реакция не случайность, свидетельствует первое же его письмо к сестре, написанное сразу по приезду в Тифлис 17 сентября 1924 года:

«Узнай, как вышло дело с Воронским. Мне страшно будет неприятно, если напостовцы его съедят. Это значит тогда бей в барабан и открывай лавочку. По линии (имеется в виду «пролетарская линия») писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что волки сдохнут».

Словом, вопреки мнению молвы, утверждавшей, что самовлюбленный Есенин равнодушен к перипетиям литературных сшибок, ему было решительно не по себе в раздраемой идеологическими противоречиями столице, и он пользовался любым предлогом, чтобы уехать, удрать из Москвы, а знакомым, из понятной осторожности, объяснял свою «москвобоязнь» по-житейски: «Вот в Грузии поэтам хорошо; Совнарком грузинский заботится о них, точно о детях своих. Приедешь туда, как домой к себе. А у нас что?»

Впрочем, в Грузии ему и в самом деле было хорошо. И в Москве, и в Питере необходимый для жизни «кислород» нужно было собирать, копить и дышать им экономно, словно это не атмосфера, а кислородная подушка — кончался запас воздуха, и начиналось кислородное голодание. А в Грузии поэтического воздуха было столько, что даже его покалеченные «пустыней и отколом» легкие не задыхались. Но главное, наиважнейшее: «Приедешь, как к себе домой». Это-то и было самым необходимым: ему, бездомнику, судьба, пусть ненадолго, даровала Дом. Дом, полный друзей. Всегда окруженный множеством знакомцев, собутыльников, прихлебателей, Есенин с юношеских лет мечтал о Друге. О великодушной, щедрой, не раздраемой завистью Дружке, и здесь, в Тифлисе, нашел то, чего не хватало всю жизнь: необременительное дружество. А кроме того, за хребтом Кавказа как-то сами собой улаживались многие житейские проблемы, на решение которых в московском бесприюте приходилось тратить слишком много душевных и физических сил. В житейских делах, или, как он говорил, — «в пространстве чрева», Сергей Александрович был до крайности неумелым, но при этом многие почему-то считали его оборотистым и расчетливым, хотя попавшие к нему в руки деньги моментально улетучивались и он никогда не отказывал, если просили займы, хотя и знал, что возврата не будет (после его смерти на сберкнижке обнаружился... один рубль). Впрочем, в период альянса с имажинистами в Есенине, видимо, и в самом деле на какой-то момент все-таки проклюнулась доставшаяся по наследству генетического родства хозяйская хватка деда по матери. Но даже в тогдашнем его франтовстве, нарочитом на фоне всеобщей

в литературных кругах бедности, когда он мог заявить во всеуслышание: «Я не отдаю воротничков в стирку, я их выбрасываю», — было что-то детское. Мальчик в сереньком шарфе, дерущий втридорога за свои выступления, брал реванш, мальчик в поддевке и в сапогах бутылочками доказывал: знай наших!

Его иногда за глаза, а то и нагло, в глаза, называли «милым другом» — знает, мол, цену своему мужскому обаянию и пользоваться им умеет. Анатолий Мариенгоф, к примеру, писал не без внутреннего раздражения: «Есенин знал, чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу... Обычно любят за любовь, Есенин никого не любил, и все любили Есенина».

Да, выглядел самоуверенным, отмахиваясь от критики, дескать, «я о своем таланте много знаю», а на самом-то деле настоящей цены ни себе, ни стихам своим так и не определил, вот и боялся, что облапошат как дурачка-простофилю, потому и держался с вызовом — и казался удачником многим, даже проницательному и тонкому А. Воронскому. Вот что писал главный редактор журнала «Красная новь» в статье «Об отошедшем»:

«Его поэтический взлет был головокружителен... у него не было полосы, когда наступают перебои... паузы, когда поэта оставляют в тени либо развенчивают. Путь его был победен, удача не покидала его, ему все давалось легко. Неудивительно, что он так легко, безрассудно, как мот, отнесся к своему удивительному таланту».

Увы, и Воронский поддался гипнозу мифа о счастливице, баловне судьбы, об Иване-царевиче русской поэзии... Галина Бениславская видела другое: «Удача у него так тесно переплелась с неудачей, что сразу и не разберешь, насколько он неудачлив». Разобраться и впрямь было трудно, для этого надо было подойти поближе и, как говаривал любимый Есениным Гоголь, «застояться подольше», и тогда «веселое» обращалось «в печальное». Издалека и вчуже был виден лишь сияющий и светящийся, как реклама, нимб почти легендарной, с интригующим привкусом скандала, славы, и это слепило, сбивало с резкости. Юлий Олеша вспоминает:

«Когда я приехал в Москву... слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем — о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, о его скандалах, даже о его славе».

И Олеша перелагает сюжет легендарный... В действительности Есенин конечно же не был «сказочно» красив. Вот как описывает наружность поэта Роман Гуль, чудом не поддавшийся гипнозу бежавшей впереди «фаворита фортуны» славы:

«Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо. Не знаю, почему принято писать о “красоте и стройности поэтов”. Есенин был не красив. Он был такой, как на рисунке. Альтмана. Славянское лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо было неправильное, с небольшим лбом и мелкими чертами. Такие лица бывают хороши в отрочестве».

Однако и Роман Гуль ошибается. Вернее всех секрет неотразимого есенинского обаяния угадал Иван Евдокимов, техред Госиздата, хотя и познакомился с поэтом только в 1924 году, когда Сергей Александрович был уже тяжело болен и много и нехорошо пил:

«...Мягкая, легкая и стремительная походка, не похожая ни на какую другую, своеобразный наклон головы вперед, будто она устала держаться прямо на белой и тонкой шее и чуть-чуть свисала к груди, белое негладкое лицо, синюющие небольшие глаза, слегка прищуренные, и улыбка, необычайно тонкая, почти неуловимая...» И при этом — «какое-то глубочайшее удалство», «совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой позы. И еще издали рассиневались чудесные глаза на белом лице, будто слегка посеребривший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя...»

Впрочем, и в воспоминаниях Евдокимова («милого Евдокимыча», как называл его Есенин) есть эпизод, где Сергей Александрович почти такой, каким описал его Юрий Олеша:

«Наблюдая в этот месяц (июнь 1925) Есенина, — а приходил он неизменно трезвый, в белом костюме (был в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней, я сохранил воспоминание о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта...»

А вот Грузию не обманули ни белые английские костюмы, ни шегольские, — подарки Айседоры, — французские шарфы «северного брата»: здесь умели видеть сквозь флер легенды и сразу догадались, что в быту Есенин беспомощен, как ребенок, что он органически не умеет создать нужную для работы обстановку, просто, по-человечески устроить свою жизнь. А кроме того, в есенинском бытовом укладе не могла не очаровывать его естественная театральность. В России бытовой эстетизм поэта и болезненная реакция на неблагообразие тогдашнего интеллигентского существования воспринимались как несносное и смешное чудачество. А в Грузии Сергей Александрович мог позволить себе осыпать прелестную жену Тициана Табидзе Нику белыми и желтыми хризантемами, не вызывая у присутствующих при этой сцене ни недоумения, ни снисходительной усмешки. Борис Пастернак удивлялся: Есенин к жизни своей относился, как к сказке! Не знаю, выдерживает ли сравнение со сказкой трагическая судьба поэта, но то, что воображение и впрямь порой, по велению его и хотенью, переносило поэта в иную страну, несомненно. И чтобы это произошло, нужно было совсем немного. Софья Виноградская, соседка Галины Бениславской по коммунальной квартире, рассказывает в своих мемуарах:

«Есенин нуждался в уюте... страдал невыносимо от его отсутствия... Это на нем сильно отражалось. Большой эстет по натуре... он не мог работать в этих условиях. И чтобы хоть немного скрасить холод голых стен и зияющих окон, он драпировал двери, убогую кушетку, кровать восточными и другими тканями... завешивал яркой шалью висячую, без абажура лампу... Он и голову свою иногда повязывал цветной шалью и ходил по комнате, неизвестно на кого похожий».

Удивлялись соседи, недоумевали домашние, но поэт знал: благодаря столь малой малости, особенно ежели «сузить глаза» («я на всю эту ржавую мреть буду шурить глаза и суживать»), преображалась убогая комната, все преображалось, сдвигалось в сторону вымысла и красоты:

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Ни в настоящий Шираз, ни в реально географический Хороссан Есенин, как и его великие предшественники Пушкин и Лермонтов, тоже мечтавшие о путешествии в страну чудес — Персию, не попал, и все-таки проскакал ее всю — от границы до границы — на розовом коне воображения.

А началось это путешествие в восточную сказку давно, еще в 1921, в Ташкенте, в ту пору, когда Григорий Колобов был в славе и силе и Есенин мог забесплатно колесить по России в комфортабельном спецвагоне. Для поездки в Ташкент у Сергея Александровича были достаточно веские причины. Во-первых, он затеял «Пугачева», и ему хотелось своими глазами увидеть пугачевскую дикую Азию, «обсыпанную солью песка и известкой». А во-вторых, в Ташкенте жил поэт Александр Ширяевец, с которым Есенин заочно, по переписке, подружился еще в 1915 и которому давно уже обещал приехать, чтобы наконец познакомиться лично. Ранние, про волжскую Русь, стихи заочного друга Есенин очень ценил, а вот его восточные вариации, собранные в сборнике «Бирюзовая чайхана», решительно не понравились, о чем Сергей Александрович и сообщил Александру Васильевичу в непривычно для их переписки резкой манере: «Пишешь ты очень много зряшного, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке. Разве ты настолько... мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?» (1920, июнь).

Ширяевец обиделся, переписка оборвалась, и Есенин надеялся, что его приезд снимет возникшее напряжение. Приехал он в Ташкент на редкость удачно: к самому

началу уразы. Вот как описывает этот мусульманский весенний праздник один из знаковых Есенина:

«Он приехал в праздник уразы, когда мусульмане до заката солнца постятся, изнемогая от голода и жары, а с сумерек, когда солнце уйдет за горы, нагромождают на стойках под навесами у лавок целые горы “дастархана” для себя и для гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрикосы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фисташки, халва... Цветы в это время одуряюще пахнут, а дикие туземные оркестры, в которых преобладают трубы и барабаны, неистово гремят. В узких запутанных закоулках тысячи людей в пестрых, слепящих, ярких тонов халатах разгуливают, толкаются и обжираются жирным пилавом, сочным шашлыком, запивая зеленым ароматным кок-чаем из низеньких пиал, переходящих от одного к другому. Чайханы, убранные пестрыми коврами и сюзанае, залиты светом керосиновых ламп, а улочки, словно вынырнувшие из столетий, ибо такими они были века назад, освещены тысячесвечными электрическими лампами, свет которых как бы усиливает пышность этого незабываемого зрелища».

Проголодавшись, московский гость и его спутники устроились на высокой открытой террасе какой-то чайханы. Но Есенин долго не мог притронуться к «дастархану», а если и отрывал глаза от экзотического зрелища, то лишь затем, чтобы проверить, не смялась ли великолепная персидская желтая роза в петлице его пиджака...

Ташкент в пору уразы, как и можно было предположить, примирил Есенина с Ширияевцем, он понял, что жить на Востоке и не писать о Востоке невозможно. Правда, тогда, в 1921, роскошная персидская *Азия* его, как поэта, не увлекла, он был слишком занят своими российскими бедами и проблемами.

В 1922 году Александр Васильевич Ширияевец перебрался из Ташкента в Москву, но Есенин был за границей, а когда вернулся и начались регулярные встречи, оба как-то вдруг поняли, что жизнь, соединив, развела их. Есенин жил на миру, громко, Ширияевец в себе и тихо. Но если вдруг, не договариваясь, встречались, радовались друг другу почти как прежде: «Дня три тому назад, – писал Ширияевец одному из своих ташкентских знакомых, – на Арбате столкнулся с Есениным. Пошли, конечно, в пивную, слушали гармонистов и отдавались лирическим излияниям. Жизнерадостен, как всегда, хочет на лето ехать в деревню, написал много новых вещей».

Письмо датировано 4 апреля 1924 года, а 15 мая Александр Васильевич внезапно и страшно — от менингита — умер. Узнав об этом, Есенин затосковал, заметался, в менингит он верить не желал, считал, что Сашка отравился волжским корнем, от которого только и бывает такая смерть. И при этом хлопотал, суетился, чтобы не сунули в кладбищенскую яму как какого-нибудь безродного бедолагу, а на похоронах читал посвященные другу стихи (в первой публикации они так и назывались — «На смерть Ширияевца»):

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...

В годовщину смерти Александра Ширияевца Есенин мысленно положит на его могилу, как венок из персидско-ташкентских роз, первые десять стихотворений цикла «Персидские мотивы» и откроет его «Чайханой» («Улеглась моя бывшая рана...»), как бы прося у друга прощения за то, что когда-то так грубо, а главное, несправедливо отозвался о его «Бирюзовой чайхане». Цикл еще рос, ветвился, но Есенин оборвал его на половине, чтобы успеть к годовщине, и тут же включил в сборник, который так и назвал: «Персидские мотивы». Он вернется к нему в августе, но это будет уже совсем другая работа, к его отношениям с милым Сашей Ширияевцем касательства уже не имеющая.

«Честь моя за песню продана...»

Полный цикл «Персидские мотивы» в том виде, каким его подготовил сам Есенин для собрания сочинений, завершается стихотворением «Голубая да веселая страна». Считается, со слов Софьи Андреевны Толстой-Есениной, что оно посвящено шестилетней Розе, дочери Петра Ивановича Чагина, главного редактора газеты «Бакинский рабочий». Дескать, Есенин «очень любил и понимал детей» и «находился с этой девочкой в большой дружбе».

Есенин действительно любил детей; в отрочестве, несмотря на насмешки сверстников, нянчился с сестрами, особо охотно с младшей, Шурой, мастерил ей и венки, и шляпы, и даже платья из луговых трав и цветов. Да и потом, взрослым, никогда не являлся в деревню без подарков девчонкам, причем привозил не только игрушки и книжки, но и нарядные городские платья. Он очень огорчился, что старшая, Катя, не умела носить непривычную «одеву», зато младшая выглядела в обновках так, словно и родилась в этих кружевах и оборках. Очень любил Есенин и свою дочь Таню, гордился ее счастливой внешностью и особым, видимо, наследственным, танцевальным изяществом — девочка мечтала стать балериной и действительно поступила в балетную школу при Большом театре, и, если бы не болезнь, наверняка стала бы танцовщицей, а не журналисткой. Дочь Чагина, ровесница Татьяны, видимо, чем-то походила на нее, и не исключено, что, играя и танцуя с Розой-Гелией, Сергей Александрович вспоминал последние неловкие свидания с Таней, и уезжая из Баку, хотя и подарил Розе Чагиной стихи про «веселую да голубую страну», сделал на рукописи помету: дескать, когда подрастет, пусть непременно передаст стихотворение его дочери. Но лучше обо всем этом рассказала сама Татьяна Сергеевна:

«С сентября 1924-го по сентябрь 1925-го Есенин жил в основном на Кавказе... мотался между Азербайджаном, Грузией и Москвой. В Баку приезжал три или четыре раза, останавливался в квартире Петра Ивановича Чагина, который был в то время вторым секретарем ЦК КП Азербайджана (первым был С.М. Киров) и одновременно редактором газеты «Бакинский рабочий». Занимая такие посты, он был очень молод — ему было всего двадцать шесть лет. Рано женившись, он имел дочь примерно моего возраста. «Персидские мотивы» первоначально печатались с посвящением Чагину. Некоторые стихотворения были написаны у него в доме... В доме у Чагина было написано и стихотворение «Голубая да веселая страна...» Обращено оно к некоей Гелии. Кто она? Персиянка, вымышленный образ? Только из примечаний к третьему тому собрания сочинений отца, вышедшего в 1962 году, я узнала, что, во-первых, стихотворение посвящено маленькой дочери Чагина Розе, которая любила называть себя Гелией Николаевной, во-вторых, что в архиве Чагина хранится черновик этого стихотворения, на полях которого написано: «Гелия Николаевна! Это слишком дорого. Когда увидите мою дочь, передайте ей. С. Е.»... Перечитала стихотворение... Написано восьмого апреля. Весенний день в Баку, дует и дует ветер с Каспия, расцветают розы, искрится голубое небо, улыбается маленькая Роза-Гелия. А в ритме, в музыке стихотворения звучит тоска. В тот же день, восьмого апреля отец написал в Москву Галине Бениславской. Написал о том, что несколько дней назад его ограбили, он остался без пальто, простудился, не было денег, болели зубы. Письмо сердитое. Плохо ему было — все «продано» за песню, но нет ни своего угла, ни семьи; беспокойная жизнь в чужих краях, в чужих домах требовала здоровья, а его не было.

В 1970 году вышел двухтомник В. Белоусова «Сергей Есенин». Летопись жизни поэта... Во втором томе напечатана часть письма Розы Петровны Чагиной (то есть взрослой Розы-Гелии), присланного в ответ на просьбу (В. Белоусова) рассказать о том, что она помнит. Она написала: «Вспоминается мне белокурый, молодой, светлоглазый, красивый дядя. Очень хорошо относился ко мне, с лаской, заботой. Играл по-своему: ставил на голову свой бритвенный прибор и танцевал со мной».

(А еще красивый дядя учил девочку плавать, играл с ней в театр. Изображая актрису, Роза называла себя Гелией Николаевной — так звали одну из местных актрис, фамилии которой она не помнила.)

...Роза была жива, предназначенный мне автограф существовал, но отец просил передать его мне, когда мы встретимся. А встреча не состоялась. Прошло еще много лет. В феврале 1988 года получаю бандероль из Москвы, в ней книга и письмо. Писатель Гуссейн Дадашевич Наджахов... прислал мне изданную в Баку документальную повесть «Балашихинский май» о жизни Есенина в Азербайджане. А что я испытала, прочитав письмо, описывать не берусь. Наджахов сообщил, что автограф у него, ему подарила его незадолго до своей смерти вдова Чагина Мария Антоновна. «Хранить у себя такую реликвию не имею права, — писал Гуссейн Дадашевич. — Считаю своим долгом выполнить волю великого поэта и выслать автограф Вам».

Поблагодарив, попросила его, посылая рукопись отца, сообщить и о судьбе Розы... И вот автограф и второе письмо у меня. Так и есть — встретиться Роза Петровна со мной, она бы не могла выполнить просьбу моего отца. Семья Чагина рассыпалась в конце 1925 года; покинув дочь и первую жену Клару Эриховну, Чагин вслед за Кировым уехал с новой женой и со всем своим архивом в Ленинград. Роза осталась со своей матерью в Баку, всю жизнь работала корректором в редакции «Бакинского рабочего». Умерла десять лет назад. ...Рассматриваю рукопись. Стихотворение с трудом поместилось на трех небольших пожелтевших бланках. Написано синим карандашом, может быть, привезенным из-за границы. Строчки не выцвели, не побледили. Вверху на бланке крупными буквами напечатано: «Редактор газеты «Бакинский рабочий»... Приписка («Гелия Николаевна! Это очень дорого...» и т. д.) на первой странице слева, вверху, справа посвящение Гелии Николаевне. Не судьба мне была увидеться с Гелией Николаевной. Был момент, когда я находилась, возможно, в двух шагах от нее или даже в одной и той же комнате: в 1952 году была проездом в Баку, заходила в редакцию «Бакинского рабочего...»

Не люди, а сама судьба позаботилась, чтобы те две серьезные, исповедальные строки, которые предназначались Татьяне Сергеевне, а не Гелии Николаевне, дошли до адресата именно тогда, когда дочь поэта смогла их понять: *«Пусть вся жизнь моя за песню продана...», «Честь моя за песню продана...»*. И понять, и простить.

Попытка прорыва

Такого читательского успеха, какой выпал на долю «Персидских мотивов», Есенин не ожидал, восточную сказку про любовь ласкового уруса и прекрасной персиянки он сочинял почти «ради шутки» и на Кавказ убежал из Москвы вовсе не для того, чтобы здесь, в Тифлисе, Баку, Батуми, собирать по крупицам остатки «пестрой азиатчины».

После возвращения из заграничного путешествия Есенин сделал отчаянную попытку сломать себя, чтобы избавиться от унижительного литвзвания «попутчик», чтобы стать настоящим, а *«не сводным сыном в великих Штатах СССР»*. Эту попытку он называет военным словом: *прорыв («Путь мой сейчас очень извилист, но это прорыв»*. Из письма к Г. Бениславской). И вроде бы почти прорывается, написав и издав в 1924 несколько вполне лояльных к советской власти вещей: «Песнь о Великом походе», «Балладу о двадцати шести», «Поэму о 36». В пролетарском лагере ликуют: на нашей улице праздник! в нашем полку прибыло! А на том, другом берегу злорадствуют: дескать, обвинял всех скопом в подхалимстве, а сам прямо-таки пресмыкается. Но Есенин не подхалимничал и не подделывался под новосоветский тон. Ему и в самом деле после знакомства с Петром Чагиным, а через него с Кировым и другими высокими лицами кавказских правительств первого призыва, которые на удивление оказались не монстрами, а очень даже недурными внутри себя людьми, показалось, что и он сможет отдать «атакующему классу» не только душу, но и лиру. Впечатлял, чего уж скрывать, и пример главного соперника — Маяковского, наступившего из высших государственных соображений на горло собственной песне. Однако творческого удовлетворения не чувствовал. Даже Бениславская и та забеспокоилась, осторожно заметив в одном из писем, что Сергей Александрович «перестал отделять стихи». Галю он успокоил, объяснив, что ломает себя и что на самом деле именно сейчас стал к форме особенно требователен. А вот себя успокоить не мог, потому что лучше чем кто-либо знал: чтобы чувствовать себя вырвавшимся из узкого промежутка (*«я очутился в узком промежутке, ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки»*), надо создать вещь не просто современную и лояльную, но и художественно совершенную. И Есенин задумывает «Анну Снегину»; с этим замыслом большого лиро-эпического «полотна», который пока держит в строгом секрете, но к которому уже сделал несколько удачных эскизов, он и уезжает в Грузию (сентябрь 1924).

Известный грузинский поэт Тициан Табидзе свидетельствует, что в первый же день по приезде в Тифлис Сергей Александрович прочел ему «Возвращение на родину». И, думается, не случайно: «Возвращение...» — первый пробный эскиз к поэме «Анна Онегина», которую он начал сочинять, видимо, еще летом 1924 после поездки в Константиново. Второй эскиз — «Русь уходящая» — уже в Тифлисе, осенью. Знакомый поэта журналист Николай Вержбицкий вспоминает:

«Четырнадцатого сентября в Тифлисе состоялась демонстрация в честь Международного юношеского дня. Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые мускулистые ребята в трусиках и майках... Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав: “Эх, Сережа, если бы нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!” Есенин внимательно посмотрел мне в глаза... и спустя полтора месяца я прочел...

Я знаю — грусть не утопить в вине,
 Не вылечить души пустыней и отколом.
 Знать, оттого так хочется и мне,
 Задрать штаны,
 Бежать за комсомолом.

“Вспоминаешь?” – спросил меня поэт, когда эти строки появились в «Заре Востока».

Словом, Есенин скрылся за Кавказским хребтом от московских треволнений не только для того, чтобы рассеяться, отвлечься, отдохнуть, освежить душу грузинским гостеприимством и ласковым, уже не жарким осенним солнцем, уезжал с надеждой, что именно здесь совпадает с «большой эпической темой», словом, ехал не как к себе домой, а словно в Дом творчества.

Чтоб воротясь опять в Москву,
 Я мог прекраснейшей поэмой
 Забыть ненужную тоску
 И не дружить вовек с богемой.

Конечно, и в Тифлисе его многое отвлекало от большой работы; после крупного бильярдного проигрыша хотел было даже вернуться в Москву. К счастью, настроение очень скоро переменялось, и Сергей Александрович переехал в Батум.

Батум. 14.12.1924. Галине Бениславской.

«Работаю и скоро пришлю вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал».

Батум. 17.12.24. Ей же.

«Работается и пишется мне дьявольски хорошо».

Зима 1924/25 года на Черноморском побережье Кавказа выдалась холодной и снежной. Было не только холодно, но и скучно, и все равно работалось: *«Я скоро завалю вас материалами. Так много и легко пишется в жизни очень редко»* (из письма к Г. Бениславской).

Есенин по неделям не выходит из батумской квартирки Льва Повицкого, куда переехал из слишком уж грязной гостиницы. Но и здесь холодина, субтропический Батум не приспособлен к столь резким отклонениям от климатической нормы. Руки мерзнут так, что Есенин вынужден бросить карандаш и сочинять стихи в уме. Еще недавно он опасался, что его жизненного опыта, какой он вынес из «сонма бурь», не хватит на большую поэму:

Я тем завидую,
 Кто жизнь провел в бою,
 Кто защищал великую идею,
 А я, сгубивший молодость мою,
 Воспоминаний даже не имею.

Хватило! И воспоминаний, и творческой воли. И все помогало: и тифлисское веселье, и батумская скука.

Сергей Александрович сам определил срок (май 1925), к которому прекраснейшая поэма о России и революции должна быть окончена. Однако творческое вдохновение было столь сильным, что он неожиданно «перевыполнил план». Уже 20 января, собрав черновики и перечитав образовавшуюся «золотую словесную руду», «батумский отшельник» увидел, что работа практически завершена. С почти готовой «Анной Снегиной» Есенин не мог, не имел права сидеть ни в скучном Батуми, ни в веселом Тифлисе.

Первое публичное чтение поэмы состоялось весной 1925 в Москве, в Доме Герцена и обернулось полным провалом. Спецэксперты, заседавшие в президиуме, о прочитанном отозвались с подчеркнутым холодком. Еще равнодушнее прореагировала пресса: за полгода всего несколько беглых и невыразительных заметок в провинциальных газетах. Неужели случайность? Или критика чего-то не поняла? Увы, критика все поняла правильно. Это автор поэмы еще не понимает, что вопреки первоначальному намерению написал не о торжестве советской идеологии, а о разоре, погибели веками стоявшего крестьянского мира. А может быть, и он все-все понял, потому и твердит, что «Анна Снегина» — «лучше всего», что он написал? Может, только во время работы наконец-то сообразил, куда, в какую бездну несет его Россию «рок событий»! Или все же надеется, что его Слово, его Свидетельство еще смогут изменить гаснущий удел хлебороба («удел хлебороба гас»), ежели только в верхних эшелонах советской власти прислушаются к мнению «последнего поэта деревни». Ведь он писал правду, одну правду и ничего, кроме правды! Приезжая в 1924 году в Константиново чаще, чем обычно (родители начали строить новый дом, а он как старший сын считал себя обязанным помочь старикам), Есенин с тревогой убеждался: власть на земле забирают в ухватистые, но бестолковые руки бездельники и негодяи. Один такой новый советский выведен в поэме «Анна Снегина»:

У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.

Дав убийственную характеристику этому выдвигенцу — пятый, то есть лишний туз, шулерская карта в колоде, Есенин показывает, какой простор дает бездельникам и тунеядцам новая власть. Не положительный Прон (он погибнет в Гражданскую войну от рук белоказаков), а его брат Лабутя организует разгром помещичьего дома, это его хвастливой трусости обязаны снеговские помещики скоростью расправы: «В захвате всегда есть скорость! Даешь! Разберем потом». И это лишь начало восхождения Лабути! В самом скором времени все будущее села оказывается в его нерабочих ладонях: «Такие всегда на примете. Живут, не мозоля рук. И вот он, конечно, в Совете».

Взяв на мушку «лабутей», Есенин и впрямь «угодил в прицел!» В самое что ни есть «яблоко»!

Еще в 1918 году ВЦИК (Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет) издал очередной Декрет об организации и снабжении деревенской бедноты. Во исполнение этого декрета были созданы комитеты деревенской бедноты, сокращенно *комбеды*, которые на местах сразу же превратились во властные органы с самыми широкими полномочиями. В ответ на их действия в деревнях начались настоящие восстания. Но крестьяне не только брались за нож, они пытались обращаться к «комиссару Ленину». Одно из таких писем — жалоба-заявление «крестьян тружеников и тружеников бедняков» Вологодской губернии — по поручению мужа Надежда Константиновна Крупская переслала председателю Вологодского губисполкома со следующей припиской: «Извиняюсь, что беспокою Вас, но эти “Комитеты Бедноты” теперь особенно часто заставляют переживать горькие минуты, когда видишь, что вместо организации жизни, в деревне создается ужасающий раскол».

Жалоба-заявление вологодчан первому «председателю Р.М.Ф.С. республики» сохранилась, на заре перестройки ее опубликовал с сохранением орфографии и пунктуации подлинника журнал «Родина». На мой взгляд, этот уникальный текст — лучший историко-бытовой комментарий к «Анне Снегиной».

«Мы крестьяне труженики середняки и бедняки не были никогда ни буржуями, ни спекулянтами-барышниками, ни пьяницами, ни карманниками, ни лентяями паразитами, как высший класс, так и нисший, за которого Вы теперь заступаетесь и жизненное государственное переустройство которым Вы теперь вверяете. Мы всю жизнь работали неустанно, не покладая рук, и мы только мы несли на своих плечах все

тяжести и нужды государственные и общественные. Богачи изворотливо откупались от несения государственных и общественных налогов, а с лентяев нечего было брать, которые от лености бросили свои земли и хозяйства, ничему хорошему не научились, поборничеством, воровством, картежничеством занимались и всецело жили нашими же трудами. И вот таким-то людям Вы дали доверие и власть. Сидя у власти на местах они не старались и не стараются поднять и улучшить трудовой уровень народа, а только и делают, что грабят, отнимают нажитое тяжелым упорным трудом и бережливостью. Ведь эти лентяи горланы обижают и бедняка труженика. Они своим разгильдяйством и разнузданностью озлобили всех нас против Вас. Ведь от Вас все это исходит. Почему Вы заступаетесь за лентяев и прохвостов, а нападаете в лице их на нас тружеников. Мы крестьяне труженики середняки и труженики бедняки обращаемся к Вам и просим Вас не отнимать у нас труд...»

Передел власти в деревне в пользу «самых отвратительных громил и шарлатанов» тревожил Есенина еще и потому, что аналогичная ситуация начала складываться к середине 1925 и в литературе. Здесь тоже всю «шуровали» «горланы», прибирая к рукам и доходные места, и идеологические позиции. Это их «разгильдяйством и разнузданностью» все теснее и теснее делалось творческой личности в том барачном общежитии, который они, «лабути», спусти рукава строили на месте его, Есенина, «золотой бревенчатой избы»...

То, что революция не духовное преображение, а национальная трагедия, Есенин начал понимать давно, уже в 1920, когда писал Жене Лифшиц: «Идет совершенно не тот социализм... Тесно в нем живому...» Известно, например, что на вечере памяти Блока, устроенном деятелями Пролеткульта, он выкрикнул из зала: «Это вы, пролетарские писатели, убили Блока!»... Но до 1925 года Есенин, видимо, еще на что-то надеялся. Может быть, как и многие, как те же крестьяне-труженики Вологодчины — на комиссара Ленина, а в 1925 оглянулся окрест и увидел, что спущенный Капитаном Земли Корабль гребется в грядущее по ватерлинию в человеческой крови и что управляют им отныне, за смертью первого председателя Р.С.Ф.Р., все те же — «лабути»! Вот тут-то злая грусть и обернулась смертной тоской, которая и затянула на певчем его горле роковую удавку.

Предназначенное раставанье

О смерти Есенина ходят легенды одна другой фантастичнее. Что его убили, а потом, уже мертвого, повесили. То ли *люди чеки*, то ли *жидомасоны*. Даже в изданном «Школой-Пресс» в серии «Школьная библиотека» сборнике С.А. Есенина «Русская боль» в разделе «Хроника» утверждается, что в ночь на 27 декабря 1925 года в Ленинграде в гостинице «Англетер» поэт был убит. Неизвестными лицами и при невыясненных обстоятельствах.

На самом деле все было куда трагичнее... Маяковский не случайно обмолвился в стихотворении «Сергею Есенину»: «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки». По всей вероятности, до него тем или иным путем дошла уже цитированная выше фраза из письма Есенина к сестре: «Придерживаясь пролетарской “линии”, *писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что волки сдохнут*». Да и пил он в последние годы действительно и много, и нехорошо — с кем ни попадая и все равно *что*. Почти все мемуаристы, как сговорившись, отмечают, что Есенин в 1925 году производил впечатление тяжело больного человека, потерявшего, что называется, «нить жизни». Особенно часто биографы цитируют Маяковского:

«Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина».

Однако именно в этот год Сергей Есенин написал лучшую из своих лирических книг, подготовил к печати трехтомное собрание сочинений (после его смерти Госиздат прибавит еще один, четвертый том), а на полученные в качестве аванса деньги достроил родителям дом; отец возражал, зачем нам, старикам, такие хоромы, но сын настоял на своем. Весьма решительно распорядился он и судьбой сестры Екатерины — выдал

замуж за хорошего и надежного человека — поэта Василия Наседкина. Больше того, ежели, как полагают некоторые биографы, Есенин уезжал в Ленинград — умирать, зачем в таком случае провел почти двое суток в «коридорах Госиздата», тщетно пытаясь получить выписанные ему большие деньги?

Нет, нет, он, видимо, действительно изо всех сил цеплялся за иллюзию: а вдруг случится чудо и он сможет дать новое направление своей жизни! Как и десять лет тому назад, когда переезд в Петроград резко и счастливо изменил его судьбу, и поэтическую, и человеческую: как и многие поэты, Есенин был суеверен, оттого, видимо, и спешил удрать из опустылевшей Москвы в город на Неве именно в 1925, в год своего десятилетнего юбилея! Не стал даже дожидаться выдачи гонорара, а перехватил в долг небольшую сумму, только чтобы доехать да протянуть несколько праздничных дней до твердо обещанного (сразу же, сразу *после* Нового года, а может, еще и *до*) госиздатовским начальством денежного перевода. В расчете на этот солидный гонорар и дал своему питерскому приятелю Вольфу Эрлиху телеграмму с просьбой срочно снять хорошую — две-три комнаты — квартиру. Эрлих просьбу не выполнил, решив, что телеграмму Сергей Александрович отправил спьяну: зачем, мол, ему две-три комнаты. Между тем Есенину нужна была именно квартира, ведь он собирался забрать сестер: и только что вышедшую замуж Екатерину вместе с мужем, естественно, и Шуру — хватит девчонке ютиться по чужим углам. Сделать это в Москве, даже с теми деньгами, какие обещал Госиздат, было невозможно: Москва, вновь ставшая столицей, трещала по швам, иное дело обезлюдевший Питер, где пустовали немереные квадратные метры — дворцовые и полудворцовые... А главное, как и десять лет назад, Есенин перебирался на постоянное жительство в Ленинград с уже готовой главной итоговой книгой. Еще в конце 1920 он писал Иванову-Разумнику:

«...Перестроение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык».

Тогда, после «Сорокоуста», «Кобыльих кораблей» и перед «Пугачевым», поэту показалось, что *перестроение* кончилось, а оказалось, что в 1920 он еще только начинал искать и *формы*, и *язык*, адекватные его *нутру*, а нашел только теперь... Отныне он и «цветок неповторимый», и, безо всяких скидок, народный поэт, и никакие гонения не страшны его живым песням, ибо они, как и песни фольклорные, не нуждаются ни в печатном станке, ни в цензурном разрешении. Этот новый стиль он «нащупал» еще в 1924 году в стихах на смерть Ширяевца и в первых «главках» «Персидских мотивов», но тогда Есенин еще верил, что сможет прорваться из попутчиков в классики с большой эпической темой. Не прорвался. «Анна Онегина», как и маленькие поэмы 1917–1919, как и «Пугачев», советской критике не «угодили». И он свернул со столбовой дороги на свою тропу. Теперь он уже не читал стихи, как прежде, он их пел — мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя особо выразительные места жестами.

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Народной песней стало и «Письмо матери»:

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось.

(Чтобы правильно понять эти общеизвестные строки, надо вспомнить к матери же обращенные стихи 1917 года, когда все-все пророчило ему, баловню судьбы и глашатаю Великой Крестьянской России, счастье и славу:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я завтра стану
Знаменитый русский поэт.

Вот, что, оказывается, не сбылось и «отмечталось» («в дым»!)

Особенно часто и охотно исполнял Есенин в 1925 «Песню» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»), для которой приспособил популярный «кавказский» мотив, причем не только пел, но и плясал — плясал именно песню, а не под песню! Один из современников оставил описание этого уникального исполнения (на мальчишнике, летом, перед свадебным путешествием с Софьей Андреевной Толстой на Кавказ):

«Волосы на голове были спутаны, глаза вдохновенно горели, и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел... Как грустно и как красиво пел безголосый, с огрубевшим от вина голосом Сергей! Как выворачивало душу это пение...»

Вот этот-то уникальный, выворачивающий душу *песенник* Есенин и вез в город своей первой славы...

Заехав с вокзала к Эрлиху и не застав того дома, оставил часть вещей, а с остальными отправился в гостиницу; вообще-то он вовсе не хотел туда ехать, собирался дождаться приятеля в знакомом обоим ресторанчике, но там было закрыто, и он двинул в «Англетер» и по роковой случайности оказался в том самом номере, где когда-то, в разгар их романа, останавливался с Айседорой Дункан. Импресарио балерины Юрок, со слов самой Дункан, утверждает, что Есенин (в феврале 1922), внимательно оглядев комнату (как-никак, а это были первые в его жизни шикарные апартаменты) и заметив на скрещении труб парового отопления прочный крюк, пошутил: вот, мол, специально для самоубийц. Именно этот крюк, продолжает Юрок, и был четыре года спустя использован им по назначению. С его же слов известно, что Есенин, чтобы отцедить кровь из надрезанной вены, — в отеле не оказалось не только чернил, но и чернильницы, а ему срочно нужно было записать сочиненные ночью стихи, — достал из чемодана маленькую этрусскую вазу, когда-то подаренную ему Изадорой.

Так это или не так, проверить, увы, невозможно, однако доподлинно известно, что подарками «заморской жар-птицы» Есенин суеверно дорожил. Работники Госиздата, и Иван Евдокимов, и Тарасов-Родионов, последние из москвичей, видевшие Есенина в день бегства, не сговариваясь, свидетельствуют: когда они обратили внимание на его очень красивый шарф, он с гордостью объяснил, что это *дар Изадоры*. И добавил, что за всю свою жизнь любил только двух женщин, ее да Зинаиду Николаевну, а «Дуньку» и сейчас любит и ласково растянул и погладил красный, с искрою, льющийся шелк...

Словом, день первый (четверг, 24 декабря 1925) ушел на обустройство, а на следующее утро, в пятницу, Есенин, проснувшись на рассвете, потребовал, чтобы Эрлих (по его просьбе заночевавший в гостинице — в последние годы Есенин панически боялся ночного одиночества) немедленно вез его к Клюеву. С тем же кинулся в соседний номер и к чете Устиновых — тете Лизе и дяде Жоржу, подняв их с постели. Клюев, дескать, — Учитель, был и остался Наставником, ему одному, мол, верит. Еле-еле уговорили дождаться приличного для визита часа. Не зная номера дома, проплутали какое-то время, но Клюева разыскали, разбудили и чуть не силком увезли с собой в «Англетер». И Есенин тут же, шуганув тетю Лизу, которая упрашивала хоть чаю с калачом выпить, стал читать стихи. Последние. 1925 года. Разбросанные по журналам и газетам. Читал и неопубликованное, практически прочел Клюеву и для Клюева новый готовый сборник — самую сильную из своих книг. Отчитывался перед Учителем («Ты, Николай, мой учитель. Слушай»). И, само собой, ждал одобрения: в отличие от «Москвы кабацкой», которая возмутила

«нежного апостола» «чернотой», «стихи 25 года», были хотя и пронзительно грустными, но светлыми:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз...

Клюев, увы, и их не одобрил. Причем язвительно: «Я думаю, Сереженька, что если бы собрать эти стихи в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России».

Есенин от неожиданности помрачнел, но быстро взял себя в руки и подчеркнуто развеселился. (Обиженный слегка, он тут же — петушком, наскაკивал на обидчика, но ежели обижали всерьез, «затыкал душу».)

Появилось пиво и даже немного вина, общество оживилось, говорили и о стихах, но не есенинских, как будто он только что не прочел вслух лучшее из им написанного! Клюев сидел молча и рано, часу в четвертом, ушел. Пообещав, правда, вернуться вечером. Не вернулся. Не пришел и в субботу. А Есенин все ждал... Разговоры вялые, бытовые: все больше о квартире да о журнале (после того, как Шершеневич практически отстранил его от составления и редактирования «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», мечта о собственном журнале, где он был бы единоличным хозяином, стала чем-то вроде идефикс. Больше того, хотя Есенин по складу характера не очень-то годился на роль главного редактора, литературная программа у него была и вполне серьезная. Об этом свидетельствуют его заметки 1925 года, и прежде всего отзыв на «Резолюцию ЦК РКП(б) о художественной литературе»:

«...Не вполне ясен мне параграф 8 резолюции, особенно вопрос о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм. Возьмем какую-нибудь группу. Предположим, крестьянских писателей. У них общая идеология. Допустим даже, что общий подход к работе. Но их произведения будут глубоко различаться друг от друга. Так как у каждого будет свой стиль, своя форма, и чем крупнее дарование, — тем форма будет характернее. Поэтому мне кажется, что вопрос о выработке новых литературных форм — дело, касающееся исключительно таланта».

Время от времени, как вспоминали очевидцы, Сергей Александрович вскакивал и отправлялся на поиски горячительного, приносил в основном пиво, в праздники все было закрыто, да и денег у него было немного, а к исходу субботы не осталось ни копейки. В воскресенье пришлось просить дворника, чтобы достал хотя бы несколько бутылок.

Маяковский, как помните, предположил: «Может, окажись чернила в “Англетере”, вены резать не было б причины...» Думаю, что «причина», точнее, повод (если иметь в виду то конкретное бытовое обстоятельство, которое, как это обычно и бывает, усугубляя ситуацию, доводит ее до крайней черты) — не отсутствие в номере чернильницы и чернил, а отсутствие денег. Ежели б вышло так, как Есенин и задумал, то есть если бы он приехал в Ленинград с большими деньгами, ни за что не провел бы две страшные, одинокие ночи в гостиничном номере наедине с собой и своими мыслями, а прокутил бы по обыкновению все, напролет, как бы рождественские и святочные праздники, а главное, свой юбилей, в каком-нибудь из загородных ресторанов, кормя и поя честную компанию до отвала. Но денег не было не то что на вино, но даже на пиво и «закусь»; «рождественский гусь», которого Сергей Александрович, отправившись сразу же по приезде (24 декабря) вместе с женой Устинова тетей Лизой за покупками, сам выбрал и доставил в гостиницу, был съеден, обглодан до последней косточки. В воскресенье уже доедали гусиные потроха. Безденежье абсолютное, когда нет ни рубля на извозчика, ни медной мелочи на трамвай, превращало шикарный гостиничный номер в тюремную клетку. Да, народ шел, но какой народ! Он, Есенин, уже несколько дней в Ленинграде, а никто из крупных питерских литераторов так и не удостоил его своим вниманием! Даже те, кого

он так яростно защищал на своих поэтических вечерах и кто будет через несколько дней изображать глубокую скорбь над его гробом...

Павел Лукницкий, молодой в то время филолог, единственный из свидетелей, кто оставил в книге «Встречи с Анной Ахматовой» подробное и на редкость нелицеприятное описание событий, связанных со смертью и похоронами Есенина (все остальные очевидцы отделались общими словами *искреннего сожаления*):

«28.12.1925.

В 6 часов узнал по телефону от Фромана (секретарь Союза поэтов в 20-е годы), что сегодня ночью повесился С. Есенин, и обстоятельства таковы: вчера Эрлих, перед тем, как прийти к Фроману, был у Есенина, в гостинице “Angleterre”... Ничего особенного Эрлих не заметил — и вчера у Фромана мы даже рассказывали анекдоты о Есенине. Эрлих ночевал у Фромана, а сегодня утром пошел опять к Есенину. Долго стучал и, наконец, пошел за коридорным. Открыли запасным ключом дверь и увидели Есенина висящим на трубе парового отопления. Он был уже холодным. Лицо его — обожжено трубой (отгалкивая табуретку, он повис лицом к стене и прижался носом к трубе) и обезображено: поврежден нос — переносица... Никаких писем, записок не нашли. Нашли только разорванную на клочки фотографическую карточку его сына. Эрлих сейчас же позвонил Фроману. И тот сразу же явился. Позже об этом узнали еще несколько человек — Лавренев в том числе — и также приняли туда. Тело Есенина было положено на подводу, покрыто простыней и отправлено в Обуховскую больницу, а вещи опечатаны... Я сейчас же позвонил в несколько мест... Позвонил и Н. Тихонову — он уже знал, но не с такими подробностями. Тихонов расстроен, кажется, больше всех... Предполагают, что ночью у Есенина случился припадок, и не было около него никого, кто бы мог его удержать, — он был один в номере».

«29.12.1925

В 9 часов утра меня поднял с постели звонок АА (Анны Ахматовой)... Расспросила меня подробности о Есенине. Анну Андреевну волнует его смерть. “Он страшно жил и страшно умер”... Из разговора понятно было, что тяжесть жизни, ощущаемая всеми и остро давящая культурных людей, нередко приводит их к мысли о самоубийстве. Но чем культурнее человек, тем крепче его дух, тем он выносливее... Я применяю эти слова прежде всего к самой АА. А вот такие, как Есенин — слабее духом. Они не выдерживают... А Есенина она не любила, ни как поэта, ни как человека. Но он поэт и человек, и это много. И когда умирает — страшно. А когда умирает такой смертью — еще страшнее. И АА вспомнила его строки:

Я в этот мир пришел,
Чтобы скорей его покинуть.

(Лукницкий цитирует неточно: запомнившиеся Ахматовой строки Есенина звучат так: Я пришел на эту землю, // Чтоб скорей ее покинуть.)

...Около 6 часов тело Есенина привезли в Союз. В Союзе уже было полно народу... Гроб подняли наверх... Несли Тихонов, Браун, я и много других... Под звуки похоронного марша внесли и поставили в большой комнате на катафалк. Открыли. Я и Полонская¹ положили в гроб приготовленные цветы. В течение часа, приблизительно, гроб стоял так и вокруг него толкались люди. Было тихо... Ощущалась какая-то неловкость — люди не знали, что им нужно делать, и бестолково переминались... Несколько человек были глубоко и искренне расстроены: Н. Тихонов, В. Эрлих, вероятно, Клюев: ... он... плакал, смотря в гроб... Перед тем, как стали снимать маску, Толстая отрезала локон у Есенина и спрятала его... Наконец маску сняли с лица и с руки... Фотограф Булла, маленький и вертлявый, поставил сбоку аппарат. Немедленно с другой стороны появились лица — Ионова², Садофьева³ и других. Всеволод⁴ стоял за моей спиной, не попадая в поле зрения аппарата. Немедленно он стал протискиваться вперед — чтобы сняться с остальными... Публика стала выкликать имена тех, кто, по ее мнению, должен был сняться с гробом. «Клюева! Клюева!» Клюев медленно прошел и встал на место. Вызвали Каменского, Шкапскую, Полонскую, Эрлиха, Тихонова...

Гроб вынесли на улицу... Я взял венок — их всего два. На том, который взял я, была лента с надписью: “Поэту Есенину от Ленинградского отделения Госиздата”... Поставили гроб на колесницу и отправились в путь. От Союза пошло, на мой взгляд, человек 200. Оркестр Госиздата плохонький и за всю дорогу сыграл три марша. Темный вечер. Мокрый снег. Почти оттепель. Публика спрашивает, кого хоронят; получив ответ “поэта Есенина”, присоединяются. Думаю, что к вокзалу пришло человек 500. Вагон-

¹ Полонская Елизавета Григорьевна — поэтесса, член группы «Серапионовы братья».

² Ионов Илья Иванович — в 1920-е годы заведующий Петроградским отделением Госиздата.

³ Садофьев Илья Иванович — поэт, с 1924 по 1929 год — председатель Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов.

⁴ Рождественский Всеволод Александрович, поэт, переводчик.

теплушка стоит уже на пути, отдельно... Ионов из вагона стал держать речь. Прежде всего это было неуместно, а потом уже плохо. За ним выступил Садофьев. Это уже абсолютно плохо... Потом стали тянуть за рукав Н. Тихонова, чтобы он тоже сказал что-нибудь. Тихонов едва открутился. Гроб привезли на вокзал в 8 часов. Поезд отходил в 11.15. вечера. Оркестр ушел сразу же, толпа заметно уменьшилась... К 10 часам вечера на вокзале осталось человек 15 — Н. Тихонов, Шкапская, Толстая, Садофьев, Эрлих, Полонская, Никитин с женой, некий Соловьев из пролет. “стихотворцев”, я — вот почти все... Мы все собрались в буфете. Пили чай и говорили. Тихонов рассказал, как на него подействовало первое известие (по телефону)... В газетах появилось уже много ерунды. Заговорили об этом и решили, что необходимо сейчас же поехать во все газеты, просмотреть весь материал на завтра и выкинуть все неподходящее... Тихонов и Никитин уехали. В 11 часов мы пошли к вагону. В Москву с гробом едут Толстая, Наседкин, Садофьев и Эрлих. Садофьеву Ионовым куплен билет в мягком вагоне... Остальные в жестком бесплацкартном. Садофьев не догадался предложить свое место Толстой... Наконец, поезд ушел. Я протянул руку к проходящему вагону и прошуршал по его стенке. Пошли домой: Шкапская, жена Никитина, жена Садофьева, я и Соловьев. Больше никого не было... Мы вместе ехали в трамвае... Из всех провожавших (я не говорю об Эрлихе) больше всего были расстроены Тихонов и Никитины. Жена Никитина — Зоя Александровна — молодая, хорошенькая, принимала участие во всем, хлопотала, устраивала гроб, цветы и т. д. Как-то благоговейно все делала. Когда вагон должны были запечатать, все вышли из вагона и остались последними двое: я и она. Я хотел выйти последним, но, заметив Никитину, я понял и вышел, и последней из вагона вышла она».

Процитированный отрывок требует некоторых разъяснений.

Лукницкий сразу заметил, что Вольф Эрлих, их общий с Есениным приятель, как-то по-особенному расстроен случившимся. В своих воспоминаниях, да и в разговорах с Лукницким Эрлих умалчивает о причине, по которой он в ту роковую ночь оставил Есенина в номере одного; получается, будто потому только, что уж очень «вдребезги» замучился, а кроме того, решил ночевать дома, чтобы с утра пораньше отправиться на почту и получить наконец по доверенности присланные Есенину деньги — гонорар из Госиздата. Однако, как свидетельствует дневниковая запись Лукницкого, сделал он это совсем по другой причине, потому, что как раз на эту ночь было заранее запланировано куда более приятное мероприятие: вечеринка у Фромана, в ту пору секретаря Союза поэтов, где молодые люди вдосталь поразвлекались анекдотами о Есенине — в присутствии и при участии его ближайшего друга! И ночевал он, естественно, не дома, а у Фромана... Судя по тексту, Лукницкий ничего не знал и о кровью написанном послании, которое Есенин еще утром сунул Эрлиху в карман пиджака, да еще и со словами: «Это тебе. Я еще тебе не писал ведь? Правда... и ты мне тоже не писал...» Как утверждает Вольф Иосифович, эти стихи он прочел только после смерти автора. Дескать, замотался и начисто забыл. Может, и вправду забыл? Но каким же нужно обладать равнодушным и черствым сердцем, чтобы даже не поинтересоваться, что же такое особенное хотел сказать Есенин, если ему для этого пришлось надрезать вену?

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

А ведь Есенин и мысли не допускал, что Эрлих... забыл. И когда тот, опаздывая на вечеринку, ушел (в 8 вечера), но с дороги вернулся, потому что второпях оставил в номере портфель с доверенностью на получение денежного перевода. Вообразите состояние Есенина... Ведь увидев вернувшегося приятеля, он наверняка подумал, что тот наконец-то прочел написанные кровью стихи. А оказалось... И все-таки он ждал — еще ровно два часа, за эти два часа, по его расчетам, Эрлих должен был прийти домой и, впервые за день оставшись один (а именно это было условием: «Останешься один — прочитаешь»), прочесть стихи и, конечно же, тут же кинуться на помощь!..

Ровно в десять Есенин спустился к портье и попросил никого к нему в номер не пускать. Впрочем, на Эрлихе был и еще один грех: поддавшись уговорам и женским слезам, он по недомыслию молодости устроил Надежде Вольпин как бы случайное свидание с Есениным. С Наденькой Вольпин, начинающей поэтессой и младшей сестрой

давнего своего приятеля, у Сергея Александровича был короткий безлюбовный роман (совсем такой, как в известных его стихах: *«наша жизнь поцелуй да кровать, наша жизнь поцелуй и — в омут»*). Девица, однако, забеременела и, не сказавши об этом ни Есенину, ни родным, родила. Естественно, ей очень хотелось, чтобы Сергей Александрович хотя бы взглянул на ребенка: а вдруг... Ведь все говорят, что сын очень похож на отца! Есенин, как и следовало ожидать, ошетинился, ведь он убежал из Москвы, и от жены и от детей, чтобы начать с чистой страницы новую жизнь, а тут такое осложнение... Короче, трогательной сцены не вышло, но, видимо, фотографию маленького Александра Сергеевича Надежда Давыдовна ему все-таки всучила. По всей вероятности, именно об этой фотографии, разорванной в клочья, и идет речь в дневнике Лукницкого («Никаких писем, записок не нашли. Нашли только разорванную на клочки фотографическую карточку его сына»), поскольку рвать фотографии других своих детей у Есенина не было причины: перед отъездом он специально заходил к ним, долго говорил с дочерью Татьяной, а Анну Романовну Изряднову даже просил, что было совсем ей непривычно, «беречь их сына».

Были особые причины для особого отношения к случившемуся и у Николая Семеновича Тихонова. Хотя официально секретарем Ленинградского отделения Союза поэтов числился Фроман, а председателем был Садофьев, неофициально его как бы возглавлял Тихонов, и уже по одному этому обязан был как-то прореагировать на появление Есенина — заехать в «Англетер», осведомиться о «дальнейших планах», хотя бы позвонить... Ведь поэт приехал в Ленинград не на гастроли, а, что называется, насовсем. А кроме того, автор «Браги» и «Баллады о гвоздях» был лично знаком с Сергеем Александровичем и лучше многих других, житейски более близких ему людей, знал, как тяжело тому жилось. Отказавшись от интервью ленинградским газетчикам, Тихонов все-таки написал о Есенине — для сборника «Памяти Есенина», изданного в 1926 году Всероссийским союзом поэтов:

«Нас разделял только маленький столик тифлисского духана. Белое напареули кипело в стаканах. Мы сидели за столиком и разговаривали стихами... Рядом торговцы баранов пропивали стадо, и юная грузинка целовалась с духанщиком. Воздух был пропитан теплотой вина и лета. Я был рад, что линии наших странствий пересекались в этом благословенном городе юга. Я любил этого вечного странника, пьяного от песен и жизни, этого кудрявого путаника и мятежника... Гуртовщики за соседним столиком чокнулись и разбили стаканы. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Сергея. И вдруг лицо его переменилось. На юношеский лоб легла тень усталости, огонек тревоги пробежал в его глазах. Он прервал стихи и замолчал. Потом сказал, как бы нехотя и подавив волнение напускной веселостью:

— Ты знаешь, я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь — влетают какие-то птицы. Я сначала испугался. Просыпаюсь — сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег свет — нетопырь. Взял палку — выгнал одного, другой висит у окна. Спать не дают. Черт знает — окон раскрыть нельзя. Противно — серые они какие-то...

— Ну, бросим — давай пить.

Мы выпили и тоже бросили стаканы. Я засмеялся, но он отвел глаза. Я увидел его тревогу. Мы обнялись и расстались.

Бедный странник знал не только скитания и песни, серые птицы не давали ему спать и не только спать, они волочили свои крылья по его стихам, путали его мысли и мешали жить... И никто никогда не узнает, какой страшный нетопырь, залетев в его комнату в северную длинную ночь, смел начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные кудри, и песни...»

Нет, не случайно Николай Семенович, узнав о гибели Есенина, начал галлюцинировать и снял с вешалки шубу, висевшую в его спальне! Видимо, тоже почувствовал приближение того «хриплого», ночного «ужаса», который, как писала Ахматова в стихах на смерть Есенина, «как из губки», «выжимает» из сердца поэта жизнь... Кстати, и об этом свидетельствуют дневниковые записи все того же Лукницкого, это стихотворение написано задолго до 28 декабря 1925 — Анна Андреевна читала его на литературном вечере, организованном Союзом поэтов 25 февраля 1925, то есть тогда, когда поэт был жив, а Ахматова, рассказывая Лукницкому о своих встречах с ним, говорила о Есенине, что он «плохой поэт». Вышло, однако, так, как и предсказывала — себе — Ахматова:

«Когда человек умирает, изменяются его портреты...» Будучи в Москве, она навестила вдову Есенина и подарила Софье Андреевне автограф этого стихотворения, собственноручно озаглавив его — «Памяти Сергея Есенина». Считается, правда, что сделано это было из цензурных соображений, чтобы отвести подозрение, будто речь идет о расстрелянном Гумилеве. Но, думается, в данном случае у Анны Андреевны были совсем другие причины для переадресовки: на смерть Николая Степановича она напишет другие стихи, а в этом говорится о типичных для российских поэтов судьбах. Впрочем, не исключено, что ее могло поразить и то, как удивительно совпали заключительные строки стихотворения:

Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь —

с тем, что написал Николай Тихонов о ночных ужасах Есенина. Если даже она не читала воспоминания Николая Семеновича сама, их наверняка пересказал ей Павел Лукницкий, который принимал активное участие в устройстве поэтических вечеров, посвященных памяти Есенина. В те месяцы они много о нем говорили, и Анна Андреевна, увидев как-то на столе у Павла Николаевича стопку есенинских фотографий, которые тот вызвался продавать на одном из благотворительных вечеров, тоже захотела купить. Фото, сделанные известным фотографом Напельбаумом, стоило дорого, у Анны Андреевны денег не было даже на папиросы и трамвай, и Лукницкий пообещал достать ей бракованную «забесплатно». А может, она и в самом деле почувствовала за напускной веселостью и даже развязностью Есенина в последнюю с ним встречу летом 1924, когда он приходил к ней в Фонтанный Дом и порывался читать «стихи про кабацкую Русь», сжигающий его жизнь хриплый ужас?!

О том, что после смерти Ширяевца (весна 1924) Есенин производил впечатление человека, опаленного каким-то губительным внутренним огнем, свидетельствует и «пролетарский» поэт Вл. Кириллов. Именно в те месяцы Есенин, обычно не откровенничавший с людьми из стана «железных врагов», неожиданно признался ему: «Чувство смерти преследует меня. Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее близость... Это очень страшно... Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу...» В тот же день, немало удивив автора, Сергей Александрович прочел наизусть, ни разу не сбившись, стихотворение Владимира Кириллова «Мои похороны», а потом на ту же тему — свое «На смерть Ширяевца».

«И простим, где нас горько обидели...»

<...>

Ленинград, это явствует из дневниковых записей Павла Лукницкого, простился с Есениным, как если бы из этой жизни ушел всего лишь бездомный литератор, отвергнутый советской новью — жалкий оркестр, толпа зевак, дежурные протокольные речи официальных лиц... Но пока спецвагон добирался из слегка омраченного Ленинграда до столицы, Россия опомнилась и осознала величину и тяжесть утраты: в день похорон на улицы вышла вся Москва! Газеты в некрологах еще затруднялись в выборе подходящего эпитета — кого, товарищи, хороним? Как обозначить литературный ранг отошедшего: большой, талантливый или, может, поскромнее: известный национальный поэт?

Но траурный транспарант над Домом печати, где был установлен гроб с телом Сергея Есенина, выражая мнение народное, уже выбрал единственно верное слово: **ВЕЛИКИЙ**.